

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

До и После 10

Берлин • 2006



Литературный альманах

До
и
После

№ 10



ИТК

БЕРЛИН 2006



Руководитель проекта
Иосиф Варди

Редакционная коллегия:
Леонид Бердичевский (гл. редактор)
Генриетта Ляховицкая (поэзия)
Марлен Гликин (проза)
Карл Абрагам (публицистика)
Давид Яновский (новые переводы)

Общественный совет:
Екатерина Гескина
Альфред Ходорковский
Марк Шейнбаум

В оформлении альманаха
использованы работы
художника С.Юдовина

Все произведения, представленные
в альманахе, опубликованы впервые

Права авторов сохранены
При перепечатке ссылка на альманах обязательна

ISBN 5-891-40-04

Берлин 2006

«ДО И ПОСЛЕ» - ОТ ПЕРВОГО ДО ДЕСЯТОГО

Эмиграция – трудно найти слова для её определения. Нечто вроде водораздела. Только вода здесь не при чём. Жизнераздел, судьбораздел. Правда, какое-то отношение к воде всё же найти можно – принято говорить о волнах эмиграции из России и СССР. Первая волна, вторая, третья... Но для каждого отдельного человека время судьбы его распадается на «до» и «после» вне зависимости от названия волны. Не важно, какая из них «донесла» нас до берегов Шпрее. «Нас» – немолодых инженеров, врачей, педагогов, художников, режиссёров... Память о том, что было «до», и острота первых впечатлений «после» превращалась в строки стихов, рассказов, мемуаров. Решили собрать и издать альманах. Легко сказать, ведь нет ни опыта, ни денег, ни даже названия. Актёр Леонид Усач, мир праху его, предложил «До и после». Осталось и прижилось, хотя спорили, искали иное, шутили: «Альманахес». Наконец, состоялось. Есть альманах: Берлин, 1997, 135 страниц крупным шрифтом. На обложке – 14 дружеских шаржей на авторов работы художника М. Погребинского. Цикл стихов поэта Петра Заманского на первых страницах альманаха был символичным: «Круговорот. Жизнь»...

Быстротечная жизнь. Уже во втором альманахе имя Ефима Фишмана в траурной рамке. Он долго болел, и как важно, что успел увидеть изданной свою книгу «100 еврейских пословиц и поговорок в стихах», которая состоялась с помощью друзей по Альманаху.

Нам повезло найти пристанище и спонсора в Берлинском отделении ZWST. Его руководитель г-н Иосиф Варди принял на себя нелёкую роль руководителя нашего проекта. В центре Берлина разместился Клуб литературы и искусства. Альманахи стали ежегодными. В третьем по счёту появилась глава из воспоминаний уроженца Берлина, увезённого для спасения от гитлеровцев в 1933 в Союз, откуда он вернулся на родину в 1991. Круговорот... Позже он опубликовал две книги, в каждой – благодарность членам клуба за помощь. Да, для нас стали необходимы эти еженедельные клубные встречи, где слушают заинтересованно, где обсуждают горячо, где критикуют и даже изредка хвалят.

В четвёртом номере, кроме привычных поэзии и прозы, появились разделы публицистики, эссеистики и переводов. И там же – стихотворение памяти светлого человека Иосифа Вольфсона. Нам так его не достаёт...

В 2001 вышел альманах № 5. Посолиднел настолько, что даже

некрупным шрифтом занято 260 страниц, а в конце «Об авторах» – с двадцатью пятью (!) фотографиями. Появились гости – иногородние авторы. И в № 6 они тоже есть. Обидно только, что из-за спешки и издательского сбоя в книге имеются опечатки.

35 авторов «до краёв» наполнили страницы альманаха № 7. Интересный материал: «Маша Калеко – неизвестная знаменитость». По числу проданных сборников немецкоязычных стихов её «Тетрадь лирических стенограмм» на втором месте после избранной лирики Гёте. Маша Калеко (Голда-Малка Энгель) не известна русскоязычному читателю. Поэтому так важны публикации переводов её стихов в нескольких номерах «До и после». Переводы поэзии с французского, английского, польского, народов бывшего Союза, иврита и, конечно же, с немецкого выполнены членами Клуба. Двумя изданиями, в 2002 и 2005, вышел сборник «Скрипач из гетто» – переводы 150 стихотворений еврейских поэтов, узников концлагерей и гетто.

Обложку «До и после» № 8 украшают работы Эфраима Мозеса Лилиена. Открывается альманах материалами в память второй годовщины со дня смерти выдающегося писателя XX века Фридриха Горенштейна. (Его эссе «Тайна, покрытая лаком» предоставлено Даном Горенштейном, сыном писателя). Мы были его современниками, читателями, слушателями на чтениях в Берлине, где он долго жил и где похоронен.

Некоторые материалы в альманахе № 9 предварены рубрикой: «К 60-летию разгрома фашизма». Уже 2005 год. Как удивительно думать об этой дате здесь, в центре столицы Германии, в здании, примыкающем к старинной «Новой Синагоге»! Рядом в Альманахе материалы о работе Еврейской больницы в годы нацизма, о малоизвестном, но достаточно крупном еврейском художнике Иссахаре Рыбаке.

Наш Клуб остался без Анны Осмоловской. Несколько страниц «До и после» № 9 отданы её стихам и словам памяти о ней. А на других страницах уже стихи молодого автора. Круговорот...

* * *

Итак, Первый «До и после» не имел номера, так как вполне мог оказаться последним. И вот уже Десятый! Трудно даже поверить, что добрались до юбилейного. Долгие быстрые годы. Альманах постепенно набирал вес – в прямом и переносном смысле. В библиотеке Треффпункта «Хатиква» («Надежда») творчество Клуба занимает специально отведенное место. На полке не только альманахи, но и отдельные книги наших авторов. Все «До и после» запрошены и приобретены Государственной библиотекой Берлина. И читатели есть. Видимо, они понимают и принимают авторскую искренность и что все написано не ради напроць невозможного гонорара. Как сказал Дмитрий Лернер: «Всё, что написано не на продажу – надо читать!».

Берлин был когда-то виднейшим центром эмигрантской русскоязычной литературы. Видимо, такова аура этого города. Приливают всё новые волны, и снова звучит на его улицах русская речь, и в ткань культуры вплетаются новые нити литературы. Впрочем, и другие города и страны принимают «наших» и дают им свободу творчества. И они, очевидцы суровых времён, пишут о «до», и продолжают творить «после». Ведь людям «оно и надобно, бесполезное,/ но почему-то позарез и вдруг:/ это баловство со словом – поэзия,/ млекопитающая, как грудь». Это цитата из стихотворения «Читателю» замечательного русского поэта Дмитрия Бобышева, живущего в США. 11 апреля 2006 года ему исполнилось 70. Мы рады представить читателям стихи юбиляра в нашем юбилейном альманахе.

Редколлегия.

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА



МОЛОДАЯ ЗВЕЗДА

СВОИМ

не хватило, -
о будущих людях жалею
и делимся сердцем:
«Дряхлеет Светило,
и станет Земля мавзолеем,
а в нём не согреться».

Свой век торопили:
«Ослепнем в потёмках,
когда энтропия
сожрёт и сердца, и ресурсы...
И – будем в потомках
без Солнца.
Тут всё и стряётся.

Стрясутся
все худшие беды»
- Но хватит об этом!
И лучшее средство
от смерти
огромно восстанет:
Всемирное сердце
ответом и светом
из тени и тайны.

Взбираясь на
дикие кручи:
«Всё – в лезвиях, в крючьях,
как витязь?
Всё – в протуберанцах
и пульсах, -
на горе, нагое, на радость?»
- Дивитесь!
Пусть
будет сегодня
глаза миллиардов глодая.

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

Родилась в Ленинграде. В Германии – с 1996 г. Инженер, философ. Публикации в журналах «Нева», «Весёлые картинки», «Коллобок», «Родная речь», «Гамбург и мы» и др.; в альманахах «Дружба», «До и после», «Третий этаж»; в антологиях «Город-текст», «Ступени», «Зубрёнок». Книги: «Увидеть рассвет», «Загадка карт влечёт», «Отблески», «Чудесята», «Связующая нить» и др.



НЕПОКОРНЫЙ ПОРТРЕТ

Скульптору Петру Криворучкому

– Вы должны мне позировать! – полное, крупное лицо его было красным. Дышал он с трудом. Седые пряди длинных волос лежали на воротнике перепачканного глиной лняного халата. Он вынул из кармана антиастматический ингалятор и попрыскал в рот.

Этот плотный приземистый человек назвался скульптором, хотя больше походил на бездомного чернорабочего. Его привёл к ней знакомый по литературному клубу.

– Мне нравятся ваши стихи. Я хотел непременно видеть автора. Буду работать над вашим портретом.

«Неужели этот человек – скульптор?» – подумала она.

– Вы не верите, что я скульптор. Этот халат... Я прямо из мастерской. Поедем туда, увидите сами.

– Нет-нет, невозможно, у меня нет времени.

– Тогда я занесу вам завтра фотографии моих работ.

* * *

Назавтра он был в опрятном костюме. Ничего не говоря, открыл картонную коробку, полную чёрно-белых фотографий, выплеснул их на стол и смотрел, как она перебирает их, и на её лицо с обострёнными временем чертами, с морщинами у глаз... В каком-то противоречии с этими возрастными приметами – приподнятые уголки губ, молодая шея и густые, собранные на затылке волосы. Она складывала отдельно фото лучших его работ. «Понимает!» – мысленно одобрил он.

– Да, вы настоящий мастер. Простите меня за вчерашнее. Но я не могу вам позировать. У меня действительно нет времени. Да и зачем это – я немолода и далеко не красавица. Вокруг столько прекрасных юных лиц.

– Пустышки! Они ещё ничего не пережили. А вы... У вас говорящее лицо. Вы должны мне позировать!

Она отказалась.

* * *

Вскоре он зашёл без предупреждения. Она удивилась, растерялась. Одета по-домашнему, лишь к вечеру ждёт гостей. Сегодня день её рождения.

– Найдётся у вас большой лист бумаги?

– Да, вот, пожалуйста.

– Можно, я набросаю ваш портрет в подарок вам? Присядьте.

Он рисовал размашисто и быстро. Портрет получился большим, словно для выставки. Она выглядела на рисунке старше, чем в жизни.

– Спасибо за подарок! Заходите вечером.

Он не пришёл. Гости, неодобрительно посматривая на портрет хозяйки, говорили, что художник её состарил. Но она была довольна – ведь портрет будет подчёркивать её молодость до тех пор, пока она не достигнет сходства с изображением.

* * *

Через полгода скульптор снова появился:

– Вы должны мне позировать!

– Но ведь уже есть портрет.

– Плохой. Я не рисовальщик, а скульптор. Надо лепить. Подарю вам настоящий портрет, а не на плоской бумаге. Вот адрес мастерской, буду ждать вас... Всегда.

* * *

Он вошёл в безликие двери кирпичного дома, как входил много лет ежедневно. Поднялся, тяжело дыша, по трём крутым пролётам узкой металлической лестницы в мастерскую. Вдохнул привычные запахи глины, гипса, старого дерева, пыли и сырости. Застеклённые откосы крыши неохотно пропускали сквозь подтаявший снег тусклый свет северного утра. Длинным шестом ткнул в выключатель. Подойти к нему мешали бесчисленные скульптуры. Желтоватое свечение больших ламп пролилось на их беспорядочное скопище.

Он никого не ждал. Утренними часами в выходные дни никто не мешает. Задумался, какую из начатых работ раскрыть, сняв пластиковые чехлы и влажные тряпки. С досадой услышал гулкие шаги по металлическим ступеням. Обернулся на стук. В дверях стояла она с извиняющейся улыбкой:

– Вот, пришла... Если не ко времени, сейчас же уйду.

– Согласны позировать? – он жадно вглядывался в лицо, которое теперь чуть больше соответствовало тому, на карандашном портрете.

– Сегодня? Сразу? Я хотела посмотреть...
– Сейчас же! Не раздумывайте. Вы очень удачно пришли. Начнём!
– торопливо помог снять пальто, подвёл к поворотному натурному станку, усадил на стул. Быстро подготовил подставку с проволочным каркасом, стал отрывисто командовать:

– Сядьте ближе. Выпрямитесь! Поверните голову влево, вправо. Смотрите сюда, теперь туда. Нет, снова в эту сторону.

Она вертела головой, с любопытством косясь на него. Наконец рассмеялась и опасаясь, что это неуместно, сдержала смех в улыбку и замёрла, чуть отвернув голову и слегка прикрыв глаза.

– Вот так! Так и сидите! – приказал он и, изогнув проволоку каркаса, стал ловко наносить глину. Почти сразу появились очертания крупной головы.

– Не шевелитесь!

Она послушно сохраняла позу, желая и не смея взглянуть на то, что получалось. Когда всё-таки взглянула, то перестала улыбаться:

– Зачем так масштабно? Не надо. Сделайте, пожалуйста, портрет в натуральную величину.

Она не могла предположить, что последует за этой просьбой. Скульптор вышвырнул из рук глину и закричал, задыхаясь:

– Я не терплю, когда мне диктуют! Я сам знаю, как мне лепить, и в каком масштабе! Мне нужно свободное пространство для пальцев. Мои пальцы должны иметь возможность ваять то, что они видят. Да, я вижу пальцами. Они знают, где и сколько надо добавить или убрать. Вот мои работы! – он указывал на крупные, выразительные лица, смотревшие с высоты стеллажей.

Она стойко выдержала его неистовство и повторила:

– Я не монумент и прошу сработать портрет таким, какая я есть.

– Тогда не буду вас лепить! – выкрикнул он, зная, что обязательно будет.

– Ну, что ж... – она поднялась.

– Садитесь! – он стал отъединять от заготовки, соскребать зеленоватую глину.

Она опустилась на стул и пошутила:

– Нет худа без добра. Вот сколько глины вы сэкономили.

Он ворчал, остывая, что не понимает, какое право имеют люди указывать Мастеру, как он должен работать, и что теперь он будет вынужден измерять её лицо циркулем и не сможет создать ничего путного, так как скован жёсткими рамками размера.

Она пыталась обосновать свою просьбу:

– Вы обещали сделать портрет для меня, а не для выставочного зала. Где он будет жить при таких размерах?

– Молчите, – оборвал он и стал вглядываться в её лицо, грустные глаза, бледные губы, спрашивая себя, что там, за этой внешностью?

Что привлекает его?

Прикасаясь к едва намеченным в глине чертам, он думал, как необычно сказала она о портрете: «будет жить...» Представил себе её дом и то, как будет там жить вторая она, созданная им. Они обе будут жить, улыбаясь друг другу...

Когда она ушла, мастер ещё поработал над портретом, затем бережно отодвинул его в сторону, но закрывать не стал.

* * *

На следующий день он рано приехал в мастерскую, чтобы продолжить работу по памяти. Переодеваясь, поглядывал на маленькую заготовку с нетерпением. Сейчас он рассмотрит её, дотронется до щеки... Он заторопился и, не зажигая света, приблизился к портрету, повернул к себе лицом и вздрогнул: на него смотрела *молодая* женщина. Он растерянно отпрянул, неловко оступился, с трудом сохранил равновесие, схватил шест и нажал выключатель. Но и при свете улыбалась ему *молодая* женщина. Он зажмурился, руками надавил себе на глаза, открыл их, но наваждение не пропало. Поспешно скатал он из глины тоненькие жгутики, наложил на веки портрета и разгладил пальцами, превратив в нависающие складки. И тут же услышал шаги. Она вошла, остановилась у порога:

– Какая же я молодая у вас! Ой, здравствуйте.

– Нет-нет, это только начало, ещё нечего смотреть. Здравствуйте.

Они рассмеялись запоздалым приветствиям.

– Я буду выверять все пропорции. Вам придётся долго позировать... Садитесь, как вчера.

Руки его словно колдовали над портретом. Он доверял своим рукам и своим глазам. Он умел видеть в человеке даже скрытые или скрываемые чувства, а руки передавали их глине. Нередко портрет получался «более похожим», чем оригинал.

Сеанс действительно был долгим. В перерыве сидели за накрытым скатертью натурным станком. Она держалась непринуждённо, была за хозяйку, заваривала чай, гибко склоняясь над низким «столом». В холодной мастерской потеплело. Сквозь стёкла крыши стал виден про свет в серой пелене облаков.

– В вашей жизни была большая любовь, – вдруг сказал он утвердительно.

– Да, была... и есть. Только... он не любил и не любит меня. А я всё люблю...

Она замолчала и будто перенеслась в молодость, в начало чувства, живого до сих пор.

– Вот такую и останься! Не шевелиться! Я должен запомнить... – он снова вернулся к работе, уже ясно представляя себе, каким должен быть результат: отсвет сильного молодого чувства на немолодом лице. Он не собирается скрывать её возраст, отходя от жизненной правды.

Через несколько часов она пожаловалась на усталость. Он проводил её до дверей и, прикрыв портрет, занялся «Надгробием». Так называл он свой автопортрет, хотя уже начертано было на нижней из окружавших его склонённую голову глыб слово «Жизнь».

* * *

Гадал ли он на пути к дому, что ждёт его завтра в мастерской? Будет ли повторение чуда?

Ночь отошла.

Утром рука его, с ключом от замка, невольно медлила. Сердце билось, будто прошёл он не три пролёта лестницы, а поднялся на крутую вершину. Накануне, перед уходом, он вновь открыл её портрет и специально оставил его лицом к двери. Но теперь не решился сразу взглянуть на него, а сначала осмотрел привычную картину старой мастерской. На стеллажах едва умещались эскизы, белые и тонированные гипсовые бюсты, в углах возвышались крупные формы – объёмные негативы будущих отливок, на полу горбились мешки с гипсом, стояли табуреты, треноги... Всё это будто ожидало, что же увидит он в центре мастерской.

И он взглянул туда и увидел *молодую* женщину. На этот раз он не отшатнулся, а наоборот, приблизился к её лицу, вгляделся в него. Да, это была его собственная работа. Его пальцы в осторожном напряжении касались её вчера, добиваясь передачи живого чувства безжизненной глине. Но почему лицо получается моложе, чем в жизни? В карандашном портрете этого не было. Впрочем, тот портрет не нравился ему.

Снова шаги, лёгкий стук в дверь, вновь она! Он обернулся и попытался заслонить собою портрет, но она смотрела на «Надгробие»:

– Это... это вы? Но... так скорбно.

– Моя жизнь... Глыбы давят... Умру – поставят на могиле...

– На могиле? Но ведь сегодня весна!

Действительно, снега не было на стёклах вверху. Небо скромно светлело.

– А меня вы сделали ещё моложе! – она уже увидела портрет.

– Нет, не смотрите, ещё нет ничего. Надо многое доработать. Будет подлинный облик!

– Зачем же? Пусть останется таким!

– Нет! – он заговорил резко, возбуждённо, – вы хотите, чтобы я польстил вам, но я не интересуюсь внешней красотостью, только правда должна быть! Вы уже продиктовали мне размер, и довольно! Садитесь!

Она села и тихо сказала:

– Не волнуйтесь так и забудьте мою глупую просьбу. Действительно, я уже не такая, какой была... Портрет, то есть вы напомнили мне...

– Ладно уж, – смягчился он, – давайте-ка, замерим шею, что-то слишком она длинная получилась. Надо же, всё точно, – удивлённо приговаривал он, сверяя расстояние от мочки уха до ключицы, – мне

казалось, что я ошибся, но нет!

* * *

Иногда она позировала часа два-три по вечерам. Даже за короткое время мастерская успевала впитать звуки её голоса, её смеха, наполниться её присутствием, и мастеру дышалось легче. Он не заметил, как перестал дорабатывать своё «Надгробие».

Однажды, после её ухода, скульптор особенно долго рассматривал портрет, который, против его воли, молодел от сеанса к сеансу. Но почему? Ведь были правдиво отражены черты немолодого лица. Откуда же юная порывистость и одновременно мягкость, лиричность облика? Глаза с нежностью смотрят... на кого? Лёгкая улыбка, приподнятые уголки губ... Он знал эти приметы, свойственные влюблённым женщинам, но впервые попытался забыть... ради себя. Не на него был обращён её взгляд, не ему улыбались губы. Его собственное мастерство не позволило ему обмануть себя – он создал *верный* облик.

С гордостью и болью признал мастер этот портрет завершённым.

* * *

Девять месяцев вынашивала смерть свой удар.

На могиле ваятеля отлитая в бронзе «Жизнь». Тяжкие глыбы пытаются и не могут задавить склонённое лицо с мощным лбом.

А где-то в запасниках музея несёт сквозь время неизбывную любовь свою небольшая бронзовая скульптура. Вот её официальное описание: «Голова женщины с пышной причёской, собранной на затылке в узел. На лице улыбка. Голова повернута к левому плечу».

1985 (2005)

ВАЯНИЕ

Скульптор влажную глину, извлекая из ванны, разминает и гладит. Ему ведом секрет, как возникнет изваянный или изваянный из безжизненной глины полный жизни портрет.

.....

И как будто не веря в совершенное чудо, он коснётся рукою – рукою творца – наклонённого, с лёгкой улыбкой лица, постепенно возникшего из ниоткуда.

РАЗОРВАННОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Жемчужных бус моих порвалась нить.
Что за привычка, бусы теревить?
Рассыпались жемчужины, легли
у ног моих на тёмный фон земли.
Подумалось: «Свободу обрели
пленённые и связанные зёрна».

Над головой моею бархат чёрный
ночных небес весь звёздами усыпан.
Быть может, сохраняла неусыпно
когда-то их порядок строгий нить,
но разорвалась. Обрели свободу
и разлетелись вширь по небосводу
алмазы звёзд...
Но кто посмел *то ожерелье* теревить?!

ВЫШИВАНИЕ

Иголка, нитки, ткань, узор, канва –
уютные и милые слова...
Рука с иглою плавно тянет нить
без суетливости и напряженья –
неспешные и мягкие движенья.
Случается напёрсток уронить,
но подхватить его
и, вновь надев на палец,
слегка подправить ткань
с канвой меж пальцев
и продолжать спокойно вышиванье –
для удовольствия, а не для выживанья.

СЕРЕБРЯНЫЕ ПЕРСТНИ

В шкатулке, на подкладке из фланели,
вещицы праздные нашли покой.
Серебряные перстни потемнели
в разлуке с их носившею рукой.
Они её когда-то украшали...
В последний день над светлою рекой
оставлены они лежать на шали,
раскинутой в траве на берегу.
Забуть бы, как они ко мне попали,
о ком воспоминанье берегу!

ЯНТАРЬ

Песком шуршали
 дюн откосы,
я вдоль залива шла одна,
и смоляные слёзы сосен
на берег бросила волна.

* * *

Здесь, за тысячи лет,
насекомыми лето звенело
и оставило след —
плавно соки ствола
покидали сосновое тело...

Загустела смола
или Время само загустело?

МУЗЫКА МОЦАРТА*

Легко и нежно, весело, изящно,
улыбкою и грацией маня,
печалью светлою, дразняще
тревожит эта музыка меня.

В ней муки скрыты за семью замками,
сквозь мягкость их порой не услышать,
прозрачными и чистыми мазками
она влечёт спокойно отдыхать...

Но чувствую, как странно, грустно тают
весёлость, жизнерадостность и смех,
и незаметно, плавно возникает
трагичность вместо призрачных утех.

1982

* В нынешнем, 2006 году – 250 лет со дня
со дня рождения великого композитора.

ЧЁРНАЯ БЫЛЬ**

Неразумные дети Земли,
вы такое предвидеть могли?!

Что-то плавится там, в глубине,
излучается что-то во вне —
то, чего не дано осязать,
и о чём невозможно сказать
на обычном людском языке.
И таится опасность в песке,
и в безвинных пригоршнях воды
миллионы частичек беды.
Ветер тучи смертельные мчит...

Почему ваша совесть молчит?
Допустить, как *такое* смогли,
вы – преступные люди Земли?!

1 мая 1986, Ленинград

ВСЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Живём, не видя и не слыша
миазмов вечных
страшной Чёрной Были.
Но всё горит – вы не забыли? –
реактора соломенная крыша.

Там радиоактивная пороша
и вихри из навек опасной пыли...

В какое будущее мы вступили
в таком непоправимом прошлом?

1 мая 2006 Берлин

*** 26 апреля 2006 – двадцатилетие
взрыва атомного реактора в Чернобыле.*



МИХАИЛ ВЕРНИК

Родился 14.12.1951 года на Украине.
Инженер. В Германии с 1979 года.

Публикации в альманахах «До и после».

ВОЛШЕБНОЕ ЯЙЦО

Правдивая эта история или нет, решать вам. Я только пересказываю то, что произошло в нашем городе.

Так вот: Лёва был холост, и это несмотря на то, что он был хорошим и симпатичным мужчиной. Как-то всё не получалось... То одно, то другое... А то и просто времени не хватало. После долгих уговоров родственников и друзей он решил жениться на первой, кто согласится стать его женой. И Рива сказала Да раньше, чем Лёва ожидал. До красавицы ей было далеко, но Лёва дал слово и сдержал его. Я знаю, женщины начнут говорить, что мужики сами, мол, уроды и что некрасивых женщин не бывает. А мужчины скажут, что под водку всё пойдёт – главное чтобы водки было много. Но все они неправы. Жизнь иногда диктует свои законы, и некрасивые люди чаще бывают счастливы. Не верите? Тогда оглянитесь.

Прошло время...

Рива была хорошей женой. Она создала домашний уют. Лёва старался не замечать недостатков, и начал привыкать к ней. Но однажды на базаре он увидел цыганку, и та сразу направилась к нему.

Лёва никогда не читал гороскопов, он не верил гадалкам и предсказателям и был уверен, что они все говорят неправду.

Цыганка кричала на весь базар, и люди стали поглядывать на Лёву: «Дай погадаю. Дай денег и ты узнаешь, что тебя ожидает». Лёва протянул ладонь. Цыганка долго разглядывала линии и спросила: – ты действительно этого хочешь? Лёва не понимал, что имела виду гадалка, но так, на всякий случай, ответил: – Да.

– Знаю, знаю, что тебе надо. Ты хочешь, чтобы у тебя была красивая

жена? Тогда купи яйцо.

– Зачем мне яйцо? Я только что купил десяток, – улыбнулся Лева.

– Нет, красавец, моё яйцо волшебное, и тот, кто будет хранить его у себя, станет красивым человеком. Особенно если это женщина.

Цыганка открыла сумку, висевшую у неё на плече и, выбрав из десятков яиц самое чистое, протянула его Лёве.

Дома он рассказал жене о том, что произошло с ним на базаре. Потом достал волшебное яйцо и сказал, что в нем хранится его жизнь, и пока оно будет целым, с ним ничего не случится. А так как он любит Ривочку, то доверяет ей яйцо, а значит, и свою жизнь!

Рива долго смеялась, но увидев серьёзное лицо мужа, взяла драгоценное яйцо и спрятала его в шкаф.

Прошло немного времени, и... Ривочка стала хорошесть. Она превратилась в настоящую красавицу. Ничего не понимая, люди хвалили Лёву. «У хорошего мужа, должна быть хорошая жена», – говорили они. И чем красивее становилась Ривочка, тем больше проблем возникало у Лёвы. Мужчины не сводили с неё глаз и делали комплименты. Ей звонили, и она часто задерживалась на работе. Лёва стал ревновать. Он проклинал цыганку. Знакомые и друзья, которые уговаривали его жениться, теперь сочувствовали ему и ненавидели Риву.

Однажды Рива заявила, что уходит от него. Лёва умолял её одумать. Он говорил, что простит ей, и что любит её. Ведь он доверил ей свою жизнь, и без неё он умрёт. Не долго думая, Ривочка, достала волшебное яйцо и сказала, что он ей надоел и что его жизнь её больше не интересует. Потом размахнулась, и Лёва закрыл глаза.

Убрав всё, что осталось от волшебного яйца, он сел за стол и долго смотрел в тёмное окно.

Однажды вечером кто-то постучал в дверь. Лёва открыл. Перед ним стояла Рива. От её красоты не осталось и следа, она была такой, какой вы запомнили её в начале рассказа.

Сейчас вы, наверное, будете говорить Лёве, чтобы он гнал её. Чтобы не впускал домой. Лучше жить одному, чем с такой женой.

Но она плакала, и он пожалел её. Они молча смотрели друг другу в глаза. Лёва хотел сказать, что, несмотря ни на что, он всё ещё любит её... Ведь красота для него не самое главное! Она хотела сказать, что будет любить его до конца жизни. И вообще, она не понимает, как такое могло с ней случиться. Но теперь это позади. Теперь она снова здесь, с ним!

Утром они не хотели вставать с постели. Им было хорошо.

Через девять месяцев Ривочка родила дочку. Лёва был счастлив, это была красивая девочка, точная копия её мамы.

Прошло несколько лет. Гуляя с дочкой, Лёва случайно встретил ту самую цыганку. Они узнали друг друга. Лёва подошёл к ней и протянул

деньги.

– За что? – спросила цыганка.

– За волшебное яйцо. А это моя дочка. Бери, бери деньги, ведь ты меня не обманула.

Цыганка посмотрела на Лёву:

– А ведь я тогда сказала тебе неправду. Неужели ты мне поверил?

Лёва улыбнулся: «Яйцо оказалось действительно волшебным. Неужели ты этого не знала?». Взяв дочку на руки, он пошёл домой.

Цыганка долго смотрела ему вслед. Потом, заглянув в сумку и выбрав из десятка обычных яиц самое красивое, завернула его в тряпочку и осторожно спрятала у себя на груди... Так, на всякий случай.

ОДЕЯЛО НА ДВОИХ

Свадьба подходила к концу. Музыкальная установка, выдавливая из себя последние звуки, захлебнулась и затихла.

Выпроводив гостей, мама невесты взяла молодых за руки и подвела к дверям спальни. Обняв их, она в очередной раз расплакалась и, поцеловав жениха, спросила: «Я надеюсь у тебя всё в порядке? Ты же хороший мальчик? Ты никогда не обидишь мою дочку?» Новоиспечённая жена смутилась и сказала: «Мама, не надо, мы не маленькие. У нас всё будет хорошо».

Уходя спать к соседке мама, посмотрев на фотографию покойного мужа, сказала: «Теперь, ты можешь лежать спокойно, наша дочка вышла замуж, и она будет счастлива...»

Они переступили порог спальни. С этого момента эта комната станет для них местом радости, слёз, признаний и обвинений. Большая мягкая перина возвышалась над кроватью, как облако, и несла на себе две подушки и два пушистых одеяла. Они обнялись и впервые поцеловались как муж и жена. До этого они тоже целовались, но сегодня это было нежнее и ласковей. Сегодня они станут одним целым. Сегодня они перестанут стесняться друг друга. Посмотрев на кровать, она сказала: «Зачем нам два одеяла? Мы всегда будем спать под одним. Правда?» И, не дождавшись ответа, сложив ненужное одеяло, навсегда спрятала его в шкаф.

Прошло время. Спрятанному одеялу стало скучно в темном шкафу. Оно мечтало, чтобы его гладили, и ему хотелось знать, о чём говорят люди в спальне. Немного высунувшись, одеяло стало прислушиваться.

– Дорогой, прикрой мне спину, мне что-то холодно.

– Как холодно? Мне лично жарко.

– Почему, когда мне холодно, тебе всегда жарко?

– Дорогой, у нас странное одеяло, теперь и мне жарко.

– На что ты намекаешь?

– Может быть, ты возьмёшь второе одеяло, и я не буду тебе мешать?

– Ты мне не мешаешь. Я хочу спать с женой, а не с одеялом.

– Я люблю тебя, прижмись ко мне.

Одеяло услышало, как нежные вздохи женщины переплелись со скрипом кровати.

Прошло десять лет. Придя домой, муж увидел, как жена вынимает спрятанное одеяло.

– Что ты делаешь? Зачем нам второе одеяло?

– Ты знаешь... я подумала, так будет лучше. Ты, наконец, сможешь спать всю ночь и не просыпаться, если...

– Что если? Что ты придумала?

– Ничего я не придумала. Давай попробуем. Ну, что такое может произойти? Мне даже интересно. Ты лежишь под своим одеялом, а я буду к тебе заползать, как змея, и мы будем...

– Это ты точно сказала, как змея. Делай, что хочешь.

Прошло двадцать лет. Змея спала рядом. Одеяла, подаренные в день свадьбы, давно ушли на пенсию и, спрятанные в подвале, вспоминали свою жизнь. Иногда им становилось грустно и они, молча обнимаясь, гладили друг друга.

Сегодня ему не спалось. До жены было далеко. Целых полметра. В этом месяце он несколько раз давал себе слово преодолеть это расстояние и прижаться к ней, к змее, но всякий раз откладывал это решение за ненадобностью. Нет, это не то слово. Просто всякий раз, видя мирно спящую жену, он не решался вмешиваться в её сон. Он почему-то всё чаще вспоминал свою любимую тещу. Узнав, что они укрываются каждый своим одеялом, она сказала: «Всё. Вы, наконец, стали мужем и женой. Теперь вы не разведётесь, теперь вы можете обойтись без меня». И умерла. Умная была у него теща. Будильник он выключил раньше, чем тот зазвенел, ведь жена спала, и будить её он не хотел.

Он тихо сел на край кровати. Разводиться он никогда не собирался. И только один единственный раз, когда к ним на работу пришла новая сотрудница, он представил себя с ней под одним одеялом... Маленькая, неприятная мыслишка стала закрадываться ему в голову. Но вспомнив тещу, и её просьбу не обижать дочку, он остановил эту мысль на половине пути. Ну как, как он может оставить её? Ведь она его жена и он её ещё любит. Правда, последнее время она стала часто болеть. То у неё ноги болят, то руки, то голова. Наверное, она специально придумывает себе болезни, чтобы держаться от него подальше. Но почему? Ведь он никогда не настаивал. Он уже привык. Она, наверное, тоже? Ведь не жалуется.

Он ещё раз посмотрел на жену. Ну как, как она может лежать и не шевелиться? Такое чувство, что она не дышит.

Он встал. Привёл себя в порядок. Повернувшись в сторону спальни, улыбнулся, послал жене воздушный поцелуй и пошёл на работу. Сегодня он почему-то весь день вспоминал их свадьбу, и как жена спрятала одеяло. Сердце сжалось в комочек, и на душе стало тяжело, как будто у него что-то украли. Вот дурочка. Ничего не случится, ничего не случится. Случилось. Детей не завели. Всё ей некогда было. Работа. Карьера. А когда, укрывшись двумя одеялами, он целовал её, она всё время просила: «Тихо, не надо. Давай попозже». Ей всегда казалось, что мама, которая спала за тонкой стенкой, всё слышит. А когда в квартире, наконец, наступала тишина, она была уже под своим одеялом и поди, доберись до неё. Змея, ведь сама сказала, что змея. И он опять улыбнулся. Всё равно люблю эту змею. Ведь жена она мне.

Дома было темно. Он зашёл в спальню. Тишина напугала его. Жена спала под своим одеялом, и в комнате было холодно. Он подошёл и прикоснулся к ней. Скорая помощь приехала быстро. Врач сказал только одно слово: «Сердце».

Похоронили её возле любимой тёщи. Цветов было мало. Она не любила цветы. Оставшись один, он долго не мог зайти в спальню. Потом, взяв большой кулёк, он сложил туда два одеяла. Спустившись в подвал, он увидел подаренные тёщей два поседевших облака. На окраине города он облил бензином то, что мешало ему жить, то, что забрало у него жену и сделало одиноким.

Пламя уносилось вверх, а вместе с ним тридцать лет жизни.

Тёща была умной женщиной. Она же сказала, что они никогда не разведутся. Что они проживут вместе долго и счастливо. Жили они действительно долго. А счастливы они были только тогда, когда жена спрятала в шкаф одеяло.

ПИСЬМО

Где-то рядом кричала женщина. Ветер доносил отрывки слов, и можно было услышать, как она жаловалась кому-то на свою жизнь и одиночество:

– Ну, не молчи, ответь мне, не молчи... Господи, и чем я же перед тобой провинилась?

Никто не отвечал ей.

Несчастливая, подумала Женя и дождавшись, когда уйдут люди, достала письмо. Она ещё вчера решила открыть и прочитать его, но муж просил открыть его именно сегодня, и она дала ему слово.

Писал он это письмо, закрывшись в комнате, и никакие уговоры Жени дать почитать его раньше времени ничем не закончились.

– Прочтёшь тогда, когда придёт время и ни минутой раньше, сказал он и поцеловал её в щёчку. Она согласилась, хотя женское любопытство

не давало ей покоя.

Сегодня и есть этот день, когда она узнает, что так тщательно скрывал её муж.

Она села в машину и поехала в город. сын и дочь хотели проводить её, но она сказала, что чувствует себя хорошо и хочет побыть одна.

Она решила заехать в кафе, где муж когда-то признался ей, что у него есть ещё одна женщина, и что он любит её, и она ждёт от него ребёнка. Тогда ей было очень обидно и больно, и ей пришлось долго бороться, чтобы сохранить семью. Она познакомилась с этой женщиной и была удивлена, что не испытывает к ней ненависти. Люба плакала и просила у неё прощения и говорила, что не думала и не хотела разрушать её семью, просто так получилось, что она очень любит её мужа и хотела иметь от него ребёнка. Больше она ничего не хочет, и когда родит, уедет жить в другой город. Женя отговаривала её и убеждала, что она и муж будут помогать ей, и муж никогда не откажется от ребёнка. Люба согласилась, но когда родилась дочка, она действительно уехала. Через несколько лет Люба приехала к ним в гости. С ней была хорошенькая девочка и мужчина, которого она называла папой.

Муж посадил девочку на колени и долго рассматривал её, как бы ища сходство, и растерянно посмотрел на жену. Она кивнула ему, и он улыбнулся. Это была его дочка, его кровь. Люба сказала, что она счастлива и благодарит их за помощь, и больше она не приедет. После этого муж заболел и долго лежал в больнице. Врачи говорили, что всё пройдёт, нужно только время. И она дала ему много времени, очень много, но мужу становилось всё хуже и хуже.

Заказав кофе, она вынула письмо.

– Дорогая и единственная моя любимая жена. Когда ты будешь читать это письмо, я буду находиться рядом с тобой, и тебе нужно будет только поднять голову, и ты увидишь меня.

Слёзы, которые она так долго сдерживала, катились по словам и, размывая буквы, падали на белую салфетку.

Она подняла голову и улыбнулась мужу. Он всегда любил шутить и даже тогда, когда признался в измене, сказал ей, что перепутал кровати. Шутник.

– Ты была единственной женщиной моей жизни, которую я любил. Но это слово не может выразить то, что я тебе хочу сказать. Я знаю только одно: если бы тебя не было, то я бы выдумал тебя. Мне не страшно умирать. Мне страшно остаться без тебя. Почему люди, которые любят друг друга, не могут жить вечно? Это несправедливо - делить влюблённых на живых и мёртвых. Но я не умер. Я всегда буду с тобой, даже когда ты забудешь меня, и рядом с тобой будет мой двойник. Это ничего, что он будет выглядеть не так, как я, моя душа вселится в него, и будет учить его, как и что он должен говорить тебе. Это не он будет

целовать тебя, а я. Это я буду гладить твои волосы и шептать, что люблю тебя. Только не говори, что ты никогда не выйдешь замуж. Дети уже взрослые, и тебе нужно подумать о себе. Ты не должна засыпать и просыпаться одна. Тебя должны будить словами: «Я люблю тебя, солнышко моё – просыпайся и сделай мне завтрак».

Она отложила письмо, и её смех заполнил кафе. Она подняла голову:

– Ты сумасшедший! Я всегда говорила, что ты сумасшедший. Она достала сигарету, и глубоко затянувшись, пустила дым мужу в лицо. Сидевший в кафе средних лет мужчина закашлялся и посмотрел в её сторону. Они обменялись взглядами, и она смутившись и опустив глаза, сказала шёпотом:

– Любимый, извини, я не заигрываю с ним. Но он почему-то всё время смотрит на меня.

Взяв в руки письмо, она прочла:

– Дорогая, я хочу тебе ещё в чём-то признаться. Я всегда говорил, что люблю тебя, и это было неправдой. Я не просто любил тебя, я без тебя не мог жить.

Однажды, когда ты спала, я целовал тебя. Я делал это очень осторожно, чтобы не разбудить тебя. Тебе было щекотно, и ты рукой отгоняла меня как назойливую муху, а когда ты открыла глаза, я притворился, что сплю. Я чувствовал, как ты смотришь на меня и еле сдерживался, чтобы не обнять тебя. Потом ты поцеловала меня и сказала... ты помнишь, что ты сказала и как гладила меня?

Подняв голову, Женя громко обратилась к мужу:

– Почему ты мне раньше не сказал? Я думала, что ты спишь. Но я всё равно люблю тебя. Да, я помню что говорила. Ну, и что? Мне не стыдно. Ведь ты мой муж и мужчина.

Незнакомец, сидевший недалеко от Жени, опять с удивлением посмотрел на неё.

– Ну, почему он на меня смотрит? Скажи ему что-то. Я же не виновата, что он всё время улыбается мне.

– Дорогая моя, я знал, что ты будешь смеяться, читая моё письмо, и рад, что доставил тебе удовольствие в такой нелёгкий для тебя день. Надеюсь, что мои похороны прошли неплохо и все говорили, каким хорошим человеком и мужем я был. Хотя, откуда им знать? Ведь только ты одна можешь рассказать им всю правду. Я не был хорошим мужем. Я был таким, как все. Я часто делал тебе больно и думал, что так и должно быть. Ты молчала и делала вид, что всё хорошо, что мы живём не хуже других. Какой же я был дурак! Прости, если можешь, и помаши мне рукой, если простила.

Оглянувшись, и видя, что незнакомец читает газету, она помахала мужу рукой. Незнакомец приподнялся и ответил на приветствие улыб-

кой.

А он ничего, подумала Женя, и опять попросила мужа:

– Если ты его не успокоишь, я уйду. Он мне уже надоел. Нахал. Не до него. Я разговариваю с тобой, неужели он этого не видит?

– Дорогая моя и единственная, сейчас ты удивись, но не пугайся. У меня есть к тебе единственная просьба. Если к тебе подойдёт незнакомый мужчина, не прогоняй его, а разреши ему присесть рядом с тобой. Так надо. Я не обижусь, ведь я люблю тебя.

А за это я научу его, как и что нужно тебе говорить, чтобы он, не дай Бог, не обидел тебя.

Я же обещал тебе, что всегда буду рядом с тобой. Скажи детям, что я их очень люблю и никогда не забуду.

Слёзы опять упали на буквы, и Женя уже не видела последних слов.

– Извините, я вижу у вас слёзы. Вам плохо? Я могу вам чем-то помочь?

Женя подняла голову. Муж улыбнулся, помахал ей рукой и, превратившись в солнечный зайчик, вылетел в окно.

– Присаживайтесь, сказала Женя. Ведь вы от меня не отстанете, я же знаю. Мой муж мне о вас много рассказывал, и она подвинула незнакомцу стул.

ПОЛЯК

Жи́ды. Так называют в Польше евреев. Из трёх миллионов жидов, проживавших в Польше до войны, сейчас осталось всего несколько тысяч. Возможно, что еврейская жизнь в Польше никогда не возродится.

Генек жил в Варшаве недалеко от еврейского квартала. С евреями он не дружил. Будучи католиком, он был уверен, что жи́ды виновны в смерти Иисуса. Видя странно одетых жидов с их пейсами, женщин, носивших парики, он смеялся и считал жидов если не совсем сумасшедшими то, по крайней мере, наполовину.

Однажды его познакомили с молодым еврейским юношей по имени Соломон. Они встречались редко и о чём бы они не говорили, Генек не упускал возможности упрекнуть Соломона в том, что жи́ды виноваты в смерти Сына Божьего. Сначала Соломон пытался объяснить ему, что это не так, что Бог один для всех, но видя упрямство Генека, перестал с ним об этом спорить. Потом Соломон уехал учиться в другой город. Прошло много лет, и они встретились снова, но тогда уже мир сошёл с ума, и люди перестали понимать друг друга.

Генек стал пекарем и открыл свою булочную недалеко от еврейского квартала. Работал он много и никак не мог создать семью. Жи́ды составляли большую часть его клиентов. Он выпекал для них хлеб и од-

нажды попробовал спечь мацу. Но бородатый раввин сказал, что мацу у гоя покупать нельзя. Хлеб – это другое дело, и он сам проверял, не подмешивает ли Генек туда чего-нибудь лишнего. Уходя вечером домой, Генек часто оставлял непроданный товар на улице и утром всегда находил пустые коробки. С жидами он жил мирно и даже обратил внимание на очень симпатичную жишовочку Сарочку. Они обменивались приветствиями, она мило улыбалась и смущённо опускала зелёные глазки. Иногда он давал ей булочки и не брал денег. Мысль о чём-то серьёзном он отгонял. Ведь он католик. А она? Кто она? Какая-то жишовка и ничего большего. Но Сарочка вышла замуж, и у неё появился маленький животик. Когда он увидел её с мужем в булочной, ему стало как-то не по себе, как будто у него что-то украли.

Жизнь шла своим ходом, и казалось, что так будет всегда. Но много лет назад Соломон как-то сказал, что так будет не всегда, что должно что-то произойти и жизнь евреев изменится. И зачем он только это сказал? И кто его просил? Война изменила жизнь не только евреев, но и всего мира.

Немцы начали войну. Они захватили Европу и, недолго думая, напали на Польшу. Польская армия сопротивлялась всего две недели, и запачканные кровью сапоги фашистов затопали по улицам Варшавы. Зловещий план уничтожения евреев не заставил себя долго ждать. В Варшаве создали гетто. Туда стали сгонять евреев, и через некоторое время это место стало для них адом.

Генека немцы не трогали. Ведь он был поляком. Они брали у него хлеб и не всегда расплачивались. Каждый день Генек видел, как со всей Варшавы немцы сгоняли жидов в гетто. Видел он и Сарочку. Проходя мимо булочной, она посмотрела в его сторону, но он отвернулся. Ведь он же католик и с жидами ничего общего не имеет.

«Ну и что, что Сын Божий был жидом? Это же совсем другой жид! А это – простая толпа, это совсем другие люди», – уговаривал он себя. Вечером он пошёл в костёл. Священник знал Генека и когда тот спросил, почему жидов сгоняют в гетто и что с ними будет, святой отец ничего не ответил и, подняв голову в сторону распятого жида, стал молиться.

Генек услышал знакомые слова о том, что пути Господни неисповедимы, что Он наказывает и прощает, и что всё в Его руках.

«А за что Он наказывает жидов?» – спросил Генек. Священник посмотрел на Генека, развёл руками и ничего не ответил.

Прошёл год. Похожие на призраков евреи рылись на мусорных свалках в надежде найти хоть какую-то еду. Ежедневно десятки грузовиков, забитых людьми, выезжали с территории гетто и возвращались пустыми за новой партией смертников. И так каждый день. Месяц за месяцем.

Поляки знали, что творится за забором гетто, и некоторые из них принимали участие в этом убийстве. Ведь они были католиками, и с жидами у них были свои счёты.

Клиентов у Генека становилось всё меньше и меньше и он, закрыв свою булочную, занялся торговлей на чёрном рынке. Дела у него шли хорошо. Однажды к нему подошёл знакомый поляк и спросил, почему он не торгует с жидами. Генек удивился. Поляк объяснил, что за корку хлеба в гетто жиды отдают своё золото и бриллианты и что этим нужно воспользоваться. Он пообещал познакомить Генека с поляком, который, став полицейским, охраняет гетто. Генек согласился и за хорошее вознаграждение полицейский согласился пропускать его.

Попав туда, Генек ужаснулся. По улицам бродили люди с жёлтыми звёздами на одежде. Их вид был ужасен, и Генек первое время не мог прийти в себя. Потом появился тот, кто предложил ему торговать с жидами, и повёл в сторону. Там он познакомил его с перекупщиками и, обменяв свой товар, Генек, получив завёрнутые в тряпку драгоценности, пошёл к выходу. Полицейский получил свою долю, и Генек быстрым шагом направился домой. Дома он развернул тряпку и увидел свёрнутые в кучку золотые цепочки, обручальные кольца и детские серёжки.

Вот, вот оно польское золото, награбленное жидами, думал он, перебирая вещи. Ну и что, что жиды голодают. Так им и надо, уговаривал он себя. С полицейским у него наладились деловые отношения, и он ещё несколько раз ходил в гетто. Но однажды перекупщики не пришли за товаром и недолго думая Генек решил торговать сам. Но, как только он вынул из мешка кусок хлеба, к нему, толкая коляску, подошла укутанная в сильно поношенные вещи женщина: «Пан, смилуйтесь, дайте моему ребёнку кусочек хлеба. Он не ел уже несколько дней»

«А золото у тебя есть?» – спросил Генек.

«Нет! У меня ничего не осталось», – и женщина встала на колени.

«Пан, ради всего святого, дайте моему ребёнку хлеба, а я буду за нас молиться».

Генек заглянул в коляску и увидел мёртвого ребёнка.

«Твой ребёнок мёртв, ты что, не знаешь?» – и Генек, посмотрел на женщину. Потом, не зная почему, он протянул ей кусок хлеба.

Увидев хлеб в руках Генека, стоящие недалеко жиды окружили его и стали вырывать мешок. Он сопротивлялся, и толпа повалила его на землю. Генек не выпускал мешок, и его стали бить ногами. Сквозь ноги бьющих его жидов он увидел женщину, накрывшую своим телом вынавшего из коляски ребёнка. Генек, наконец, выпустил мешок. Люди разбежались. Генек встал. Недалеко стоял одинокий жид и смотрел в его сторону.

«Жидовская морда. Пся-крев!», – и Генек, погрозил жиду кулаком. Но тот не испугался, а пошёл Генеку навстречу. Генек сжал кулаки, но

жид протянул ему руку.

«День добрый, Генек. Ты меня не узнаёшь? Это я – Соломон»

Перед Генеком стоял рано состарившийся мужчина.

«Соломон, это ты? Нет, не может быть. Как ты попал сюда? О, Господи!» – и Генек протянул Соломону руку.

Они сели на скамейку, и Соломон рассказал, как он с семьёй приехал в Варшаву и попал в гетто. О том, что его родителей и жену отправили в концлагерь и что он с детьми теперь ждёт своей очереди.

«Генек, объясни мне, как могло так получиться, как могли люди превратиться в зверей? Мы никому ничего плохого не сделали. За что?» – и Соломон заплакал. Генек молчал. Потом он встал и пообещал вернуться завтра и принести еду. Несколько дней Генек приходил, и они с Соломоном, укрывшись в квартире, кормили детей. Старшему, Мареку, было шесть, а младшему Давиду – четыре года и они не могли понять, кто такой Генек, и почему он приносит им еду. Соломон объяснил им, что это друг, хороший друг и что он будет о них заботиться. Через несколько дней Соломон сообщил Генеку, что на днях их отправят в концлагерь.

Потом он долго смотрел на поляка и сказал: «Генек, спаси моих детей! Кроме тебя у меня никого нет. Я не могу дать тебе ни денег, ни золота. Самое дорогое, что у меня есть, это мои дети, и я доверяю их тебе», – и Соломон встал перед Генеком на колени. «Спаси!»

Всю ночь Генек не спал. Как он, поляк, католик, может спасти жидовских детей? Ведь его могут за это наказать. И вообще, почему он должен кого-то спасать? Пусть жида сами себя спасают. Для этого у них есть их Бог, которым они так гордятся.

На следующий день он появился у ворот гетто с большой коляской, на которой лежало два больших мешка. Полицейский, удивившись, спросил: «Цо пан везе, цо там маешь?» Генек сказал, что у него хорошее дело к жидам, что он хорошо заработает и поделится с ним. Потом он дал ему несколько бутылок водки. Охранник пропустил его.

Генек рассказал Соломону свой план. Они накормили детей и добавили им в чай немного снотворного. Дети уснули. Положив их в мешки, Соломон с Генеком присели. «Генек, я знаю, что ты хороший человек, и я знаю, что моим детям будет у тебя хорошо. У меня есть к тебе ещё одна просьба. Сделай так, чтобы они не забыли, что они жида. Я хочу, чтобы они жили так, как жили их деды и я». Соломон проводил Генека до ворот. Пьяный охранник, увидев Генека с полными мешками, спросил, почему он ничего не продал. Генек ответил, что у жидов ничего больше нет. Ни золота, ни бриллиантов. Потом он вынул из кармана золотую цепочку и, дав её охраннику, сказал, что это всё, что у него есть. Недовольный поляк что-то пробурчал и пропустил его. Соломон увидел, как закрылись ворота, и заплакал.

Прошло двадцать пять лет. За столом сидела большая семья и отмечала жидовский новый год. У седого отца на голове была кipa. Старший сын Марек читал праздничную молитву, потом он передал сидур своему брату Давиду, а тот детям. Внуки окружили деда и просили подарки. Получив их, они убежали на улицу.

«Папа!» – начал Марек, - «Мы все решили переехать жить в Израиль. Но если ты откажешься ехать с нами, мы останемся с тобой. Без тебя мы не поедём».

«Дети мои, вы же знаете, что я не жид. Ну что я буду там делать?» – и Генек растерянно посмотрел на своих детей.

«Это ты не жид?» – и Давид обнял Генека. «А кто нас всему научил? Кто нашёл нам жидовских жён? Кто держал на руках наших детей, когда им делали обрезание? Кто? Ты наш самый дорогой и любимый человек! Ты всегда был нам папой, и ты самый большой жид в Польше!»

Перед отъездом Генек зашёл в костёл. Он долго смотрел на Иисуса, потом сказал: «Соломон, я всё сделал так, как ты меня просил. Я люблю наших детей, и мы все любим тебя».

Тель-Авив. В парке, где собирались, в основном, русские эмигранты, обращал на себя внимание человек с крестиком на шее. Он сидел и, наблюдая за внуками, разговаривал с ними по-польски. Увидев удивлённые взгляды бабушек и дедушек, он, путая польские и русские слова, сказал: «Нет, нет, я не еврей. Мои дети и внуки евреи. Так уж получилось, но это длинная история. Расскажу её вам, как-нибудь в другой раз, если только Соломон разрешит». И улыбнулся.



ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

Родился 24.11.1938 в Киеве. Художник. В Германии с 1993. Публикации в журналах и альманахах: «Радуга», «Зеркало загадок», «Родная речь», «Параллели», «Берега», «Ступени», «Скрипач из гетто», «Иерусалимский библиофил», «До и после» и др. Книги стихов и переводов: «Сонеты», «В пути меж небом и землёй», «Божественный огонь», «Бессонница», «Свидание».

Из цикла «Берлинские этюды»

* * *

Наблюдаю, словно извне:
расплескалось небо в окне
живописною панорамой.
Мнится: плавно плыву я в нём,
согреваемый тёплым днём,
не заметив оконной рамы.
Небо – нынче моя мишень,
стоит преодолеть ступень.
Облака – вереницей длинной
приглашают меня - полёт
совершить через небосвод
над пространством всего Берлина.
Ведь туда свободен билет,
но оттуда возврата нет,
стану там Летучим Голландцем -
вечным спутником всех планет.
По прошествии тысяч лет
перестану быть иностранцем.

* * *

Туман. На улице ни зги.
Вздых ветерка ритмично-чётко.
Разносторонние шаги
царапавших асфальт подмёток.

В воображении ясней
плывущих зданий силуэты,
обрывки из уснувших дней
и реплик, обронённых где-то.
И кажется, что этот сон,
хрустально-хрупкий, не случаен.
Но мерный колокольный звон
в сиюминутность возвращает.
Туман рассыпался и сник.
Шагов движение стало реже.
Вот солнца проявился лик.
Сон отступил. Рассвет забрезжил.

* * *

Во мне живут два разных существа,
два сотканных судьбой противоречья.
Роднит их оболочка человечья,
но в самом деле их, бесспорно, два.

Настойчиво стремятся зеркала
точнее отразить их, тем не менее,
но вероятность этого мала,
когда поглубже провести сравнение:

Один – серьёзен, чопорен, глубок
и к размышленью склонен, мыслит строго.
Из множества исхоженных дорог
ему по нраву ровная дорога.

Другой – открыт, улыбчив и трепач,
лишь сам себе слывёт авторитетом.
Легко по жизни катится, как мяч,
но верит в суеверья и приметы.

Один – художник, эрудит, поэт
и книжный червь, и в живописи дока,
смиранный муж, отец отменный, дед
и глубоко он почитает Бога.

Другой – спиртное любит, сквернослов,
с друзьями делится последним центом.
Способен сочинить он много строф,
чтоб прихвастнуть создавшимся моментом...

Я часто удивляюсь сам себе,
как вместе уживаются два типа,
без шума, без ушиба и без всхлипа –
всё это, видно, в масть моей судьбе.

ОСЕННИЕ РИТМЫ

Солнце, с трудом прорываясь сквозь облако,
Грусть навевает расплывчатым обликом.
И перепады: то душно, то ветрено.
День сократился, как будто бы, вчетверо.
Гнутся деревья под пьяными ветками.
Падают с хрустом, сухие и ветхие.
Словно мазками, из листьев заплатами,
Всё на земле аккуратно залатано...
Собраны жёлтые листья в букеты.
Празднует осень победу над летом.

ИЕРУСАЛИМ

...Мой голос внутренний поёт: Иерусалим!
Давида город. Город Соломона.
Он на холмах стоит и горных склонах.
Тремя религиями он боготворим.

Он – символ вечности. Стекается народ,
Чтоб положить записки в Стену Плача,
И верит, что Господь прочтёт их и поймёт,
И наградит покоем и удачей.

От севера – с Гило, на юг - в Рамот –
Все трудятся и защищают землю.
Никто иную жизнь и не приемлет –
Лишь ту, в которой счастлив весь народ.

Там лето круглый год и только шутки зим.
Цветы и цитрусовый сад на камнях.
Он вдохновлён библейский стихами.
...Мой голос внутренний поёт: Иерусалим!

Шалом ему! Пока мне примечталось,
Но твёрдо знаю – будет наяву:
Я цепь вражды молитвами прорву,
Сплетая дружбы цепь и к жертвам жалость.

Я Господа прошу – ему слагаю гимн,
Чтоб Город процветал тысячелетья
И не было б на нём войны отметин.
...Мой голос внутренний поёт: Иерусалим!

* * *

Лёг ковром на черепицу
Мелкий иней мозаичный.
Он слепяще серебрится
Открывая дня величье.

Из окошка, что напротив,
Отдавая дань Шопену,
Закружился вальс в полёте,
Дополняя мизансцену.

Всё наброски. Всё этюдно.
Всё спокойно, без оваций.
Репетируется утро,
Чтоб к полудню разыгаться.

И затем легко, без спросу,
Горло дня прочистят звуки:
Безответные вопросы,
Перезвоны-перестуки,

Слёзы, тайны и печали,
Поцелуи, извиненья...
Всё, что радует и жалит,
Завершая дня течение.

* * *

ЭТО ушло, растворилось, умчалось,
скрылось за поворотом.
Но сохранилась ничтожная малость,
но задержалось что-то. -

В сизом тумане тучкой проплыло,
Словно оно под запретом.
Жаль, не припомнить, что *ЭТО* было,
Что притаилось где-то.

Вырвать мгновенье из целого кресса,
Не упустить момента,
Чтоб не возникло скупого вопроса,
ЭТО прельстить бы чем-то.

Всё-таки *ЭТО* засело глубоко –
В горле першит ангиной,
То беспокойным шипит монологом,
То сновиденьем длинным.

Дни мельтешат, обгоняя друг друга,
Шифром замка с секретом.
Только ведь память всегда близорука,
Значит, не встретить *ЭТО*.

* * *

Памяти Виктора Голинского.

Хронометрируя шаги,
давясь пайком невзгод дорожных,
бесцельно, не увидев зги,
где остановка невозможна,
но, тем не менее, вперёд
его несли лихие ноги,
из ночи вынырнув в восход,
казалось бы, на край дороги..

Где злополучный этот край?
Где оборвётся нить скитаний?
Что повстречаешь невзначай? –
нам не дано узнать заранее...

И даже встав не с той ноги,
тасуя города и даты,
хронометрируя шаги,
он всё равно спешил куда-то.
И укрощая долгий гон,
смерть проявила только жалость,
шепнула, оборвавши стон:
«Довольно, время исчерпалось!»

* * *

Возник вопрос.
Застрял ответ...
Простыв от слёз,
Пропал рассвет.
Куда спешил?
О чём мечтал?
Как много сил
Ушли в провал...
Где результат?
Святого нимб.
Всё невпопад —
Расплылся грим.
Не с той ноги
Шёл на уступ...
Кричат стихи,
Слетая с губ...
Прошёл гипноз.
Затерян след.
Повис вопрос.
Ответа нет.

ВОЛЧОК

Я вращаюсь, как волчок.
Не стремлюсь остановиться.
Все события и лица
Мчатся, словно с пьяных ног.

Всем, вокруг своей оси,
Раскрываю я объятья.
Только не могу понять я
Для чего? Господь, прости.

Этот исполняю трюк
Ради собственной забавы,
Вижу всё: что слева, справа,
Кто мой враг, и кто мне друг.

По кольцу моя тропа
И особый угол зренья.
Это не моё решение —
Так назначила судьба.

Нахожусь в глубоком сне.
С детства так и не проснулся...
Мир давно перевернулся.
Впрочем, счастлив я вполне.

Господи! Продли мне срок,
Чтобы смог я продержаться,
Средь коллизий и вибраций,
Не свалиться, как волчок!

ХОЛОДНЫЕ СТИХИ

Холодные стихи о холодности взгляда...
Холодные стихи о холоде души...
Температура их – на уровне прохлады,
Но тексты их порой надменно-хороши.
Холодные стихи всегда сухи и немы.
В них скупость выводов, без вспышек суеты.
Как краткость формулы, как точность теоремы.
Они не признают желаний и мечты...

Холодные стихи – им холод не помеха.
Они ведут весьма учтивый разговор.
Как в полной тишине отзывчивое эхо,
Перевирая смысл, плетёт нелепый вздор.
Холодные стихи – от них озябнуть можно,
И даже не найдя случайной чепухи,
Читатель их покрыт холодной сыпью кожной...
Вот, что несут они – *холодные стихи*...

МАРЛЕН ГЛИНКИН

Родился 07.11.1932 года в Киеве. Инженер. Режиссёр. В Германии с 1992 года.

Публикации в журналах и альманахах: «Студия», «Берега», «Родная речь», «До и после», «Соборность», «Параллели». Книги: «Театрализованные праздники», «Время – вперёд!», «Скоморошья потехи», «Театр абсурда», «Графиня», «Кто вы, мистер Икс», «О, женщина!»



У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ

Наши герои могли бы встретиться раньше – не случилось.

Они впервые встретились в клинике, в комнате ожидания. Некоторые из них думали, действительно уже всё... Встретились и услышали голоса друг друга, и им стало легче на душе. Так просто. Другим интеллектуалам хорошо, например, тогда, когда мысленно слышатся голоса Гессе, Гете, Рильке, а другим необходимы для полноценной жизни интонации шекспировского мира, тембр его внутреннего голоса. Плохо, когда этого нет. Тогда – беспросветное одиночество. И не бытовое, а духовное, по большому счету. У всякого явления бывает или не бывает момент, когда все его нутро достигает критической массы. Многие люди на практике пользуются обыденными, как бы не – книжными правилами, законами так называемого здравого смысла, в миру считающимися более подходящими... Может быть, поэтому в мире меньше счастливых дней, чем могло бы быть? Все зависит от наших линий жизни – судеб... Вопрос же о физическом уходе от того, что уже маячит где-то вдали в духовном смысле, у наших героев еще не стоял...

Поэтому трудно представить, что дружеский совет может полностью изменить человеческую жизнь, лишив человека покоя и смысла, наставив пересмотреть все жизненные коллизии.

Илья Маркович Шмуклер, инженер-механик, приехал в Берлин из Киева. Среднего роста, сутулый, с шикарной шапкой смоляных волос. В Берлине он как-то осунулся, постарел, и шапка волос превратилась в скромную тубетейку.

Свой сорокалетний трудовой стаж он заработал на единственном

месте, в проектно-институте. Смелые инженерные решения и работа в профкоме закалили его характер, дошлифованный его женой, Ритой.

Она была брюнетка с глазами притаившейся пантеры, зная наизусть Мандельштама и, как выяснилось, суфражистка шестидесятых годов.

Это означало, что жила она по принципу «все, что можно Адаму, можно и Еве». Принцип понимался, в основном, как вседозволенность, сплошной белый вальс. Она гордилась тем, что выбирала сама, не ждала старосветски, пока соизволит обратить на нее внимание проезжий гусар, вела себя неллицимерно, хотя и несколько вызывающе, ибо наряду с изысками высокого штиля запросто швыряла матерные выражения в узком и широком кругу, где была фигурой одиозной, однако, несмотря на нелестные эпитеты и приложения к ее имени, слыла человеком умным, даже талантливым. Рита была демонически красива и казалась вполне искренней, что делало ее схожей с мужчинами.

Почему ее выбор остановился на Илье? Почему она скоропалительно женила его на себе, дав ему определение «ни рыба, ни мясо», оставалось неясным для окружающих. Работая администратором в филармонии, она считала себя большим специалистом в области ортодоксальной и народной медицины, постоянно используя свои знания для врачевания мужа и сына.

Слава Богу, ее стараниями Илья не болел и никогда не был на больничном. Прожив несколько лет в Берлине, он встретил на улице известного эстрадного артиста, с которым иногда встречался на литературных вечерах. Поздоровались. Поговорили о бременности эмигрантской жизни, о политике, затронув главный вопрос эмигрантов – болезни.

– Илья, а как себя ведет ваша «бомба замедленного действия»? – последовал ехидный вопрос.

– Что вы имеете в виду? – ответил вопросом на вопрос Илья.

– Я имею в виду вашу простату.

– Я с ней, слава богу, не знаком и не могу себе представить, ее «бомбой»...

– Вы сошли с ума! Каждый здравомыслящий мужчина, разменявший шестой десяток, обязан проверять свой главный орган, – категорически заявил собеседник.

Поболтав еще пару минут, они расстались. Однако, этот разговор возымел свое действие, зародив сомнение и лишив Илью Марковича покоя и сна.

Несмотря на протесты жены, он рискнул посетить лучшего друга всех евреев-эмигрантов – врача-уролога «советского разлива», приветливого человека и собеседника. Проведенное обследование привело семейство Шмуклеров в состояние шока. Диагноз предполагал самое худшее из «джентельменского» набора современной медицины.

В регистратуру и комнату ожидания нужно было спускаться в подвал. Казалось почему-то, что рядом должен быть больничный морг.

Вдоль стен помещения – ряды мягких стульев, в центре – столики с журналами, по углам – покосившиеся пальмы.

На стульях – люди с опухольями, носители загадок и тревог, почти те, которых должны казнить. Все разворачивается медленно, тягуче, с какой-то успокаивающей официальностью. У впервые входящих в онкологические больницы обычно нарушается кровообращение, сужаются сосуды, холодеют руки и сердце теряет ритм, словно от непривычной близости *к р у б е ж у*. Потом это проходит. Становится ясно, что здесь просто чуть пожирнее черта, что рубеж существует везде и пересекает нас воображаемой линией, переливая жизнь в смерть и непрерывно двигаясь, как на экране осциллографа. Любопытно, что это чаще происходит со здоровыми. С теми, кто приводит «своего» больного, утешает его, делает вид, что верит в скорое выздоровление, пытается раздвигать окаменевшие губы, изображать бодрую улыбку, и не зная, как решать проблему расширенных зрачков испуганных глаз, может быть, и не нужных в этот момент, лишних и неприличных. Но вот, представьте, вы сами сидите в качестве приговоренного к приему, к новым-обследованиям, операции, шушуканью у вас за спиной, тотальной загадочности, к подозрительности и, наконец, к безразличию отчаявшегося.

Вы сидите и думаете, что где-то рядом морг, куда, конечно же, должны вскоре поместить и ваше брэнное... Вы сидите и, как ни странно, шутите, разговариваете о политике, о ценах, о прошлом...

Пришедшие на консультацию, с десятков евреев, немецкая пара и одинокий турок. Немцы и турок молчат, наши громко беседуют. Говорят автоматически, произнося какие-то чужие слова с чужим смыслом, механически размышляя о жизненной суете. У всех много свободного времени, что им в тягость, потому что у них занят мозг, все существо, вся площадь, искони называемая душой, – одним собой. Все слова произносятся для того, чтобы скрыть совершенное безразличие ко всему на свете, кроме себя.

«Боже мой, – думает кто-то из них, – совсем как Мария Стюарт накануне казни... Только все эти королевы вместе с их королевствами больше не интересны».

Что королевы? Они сами, сидящие вдоль стен, чувствуют себя в каком-то смысле элитными – их отметила судьба, им удалось попасть в престижную клинику, где оперировали самого Иосифа Кобзона, с ними возятся родственники.

Человек в комнате ожидания сомневается. А значит, надеется. И поэтому жив. Пока. Ожидание перед вызовом в приемный покой онкологической больницы – канун вашего личного физического уничтоже-

ния, если вы, не дай бог, там оказались.

Это — известная издревле психологическая модель: воображаемые ужасы превосходят реальные, представляемый мрак темнее любого существующего в природе.

Вы — образованный человек, умный и сильный, почти идеальный, черт возьми, а ничего не можете поделать со своей паникой, со стихией затравленного зверя, с глобальным выводом насчет всяческих ценностей в этом мире.

Некое новообразование парализует душу, и вы начинаете, словно независимо от самого себя, существовать по законам той легенды, что вы создали для себя и для других. Любопытная штука происходит в этой комнате: вы хотите жить, но при этом совершенно безразличны ко всякой жизни вне вас, ко всему, что вас непосредственно не касается. Еще как касается! Господи! Все ясно. Ведь каждый знает, как ведут себя уже почти умершие, еще едва-едва присутствующие, в чем-то вроде бы виноватые перед этим пока здоровым, пока относительно молодым населением. Господи...

Илья Маркович сидит на краешке стула, испуганно прижавшись к своей удрученной жене и, кажется, что мысли уже покинули его. И все же, в его сознании теплится, что никто от него мысли и не требует, как и искренности и мудрых изречений. Я здесь по другому поводу, так сказать, — думает он. — От меня требуется подчиняться и выполнять, входить и выходить, снимать и одевать, брать и класть, что-то еще и еще — ясное, примитивное, конвейерное. Я попал в пантомиму. Я — статист, не знающий замысла режиссера, тонкостей сверхзадачи. Я — всего лишь нюанс, или даже его частица, как, например, пылинка на журнальном столике.

Да, здесь куда-то отодвигаются все прежние точки отсчета. Мне кажется, что я уже живу в другом измерении, переходя из стратосферы бытия в его ионосферу.

Я пребываю там, где, умирая от желания знать правду, не хочется ее знать, и после — если будет мое «после» — я, возможно, насмешливо обзову себя материализованной интонацией из «Словаря дьявола» А.Бирса.

Мало кто знает об этом... Я знаю, ибо образован — не дипломно, а по старинке, на совесть, по книгам... Поэтому мне и приходит в этот момент мысль о прозаическом эпизоде из Рильке, из его «Записок Мальте Лауридса Бригге», который любил Пастернак: полуграмотная сиделка возле умирающего Феликса Арверса говорит «колидор», «и ради правды», как пишет автор, больной прерывает собственную агонию, поправляет старушку: «КоРидор...», и, исполнив долг, уходит навсегда. Вот оно как бывает. Вот оно...

Да, да, вот оно!... Абрам Моисеевич сидит рядом с Ильей и его женой.

Абрам Моисеевич – ростом 160 сантиметров, рыжий, очкастый и смешной... Он был робким ребенком из добропорядочной еврейской семьи, всегда слушавшим маму. Обладая природным чувством юмора, он в молодости умел разыгрывать из себя интеллектуала, хотя и не получил высшего образования. Зато самообразовывался... С детства ему снились сладострастные поцелуи и куча вольностей, неодобряемых мамой. Она все время следила за сыном и не позволяла ему не то что словом или делом, а даже неосторожным жестом выдать свои постыдные сексуальные желания. Смотреть на девушек? Ой, как стыдно! Это мамино дело – искать невесту.

А если достойной нет? Ну что же, надо подождать. Он ждал. Подождал пока мамочка попала на небо, а затем пошел в загул, из которого не выходил всю жизнь.

Он женился, разводился и снова женился... Постепенно стал считать себя одним из самых сексуальных мужчин Центрального района города Харькова. -

Сейчас в нем «бурлил» опыт нескольких пребываний в «онкологии». Он поддельно усмехался, жестами и мимикой сообщал о тонкостях правильного поведения. Он говорил: – Еще немного терпения и придет профессор Хинкель – это суперсветило в «нашей области» и лучший специалист в Берлине.

И вдруг, Абрам Моисеевич внутренним голосом запевает, но всем присутствующим было слышно и даже совсем неплохо. Звучало что-то из «Травиаты».

Услышав эти звуки, Рита сказала: – Моя бабушка говорила, что петь до 12 часов дня нельзя – это может принести несчастье...

– Вы верите в бабушкины сказки, – парировал Моисеевич, – все это срунда!

– Послушайте сюда! – обратился он к собравшимся, как бы ища собеседников. – Я еще в молодости слышал о простате, простатите и аденоме. Все мужики нашего семейства прошли через операции, слава богу, не онкологические. Единственный, кто избежал этого «обрезания», мой дядя, брат отца. Так вот: он постоянно напоминал мне, что жизненно-сексуальный процесс нельзя прерывать! Чем больше женщин мы любим, тем лучше лечимся от них!... Мой дядя Лео «любил» около тысячи женщин! Его знал весь Киев.

Лицо Риты покрылось красными пятнами, глаза презрительно блеснули, а властный голос произнес:

Любовь! Только любовь определяет отношения между мужчиной и женщиной. Разврат – это позор для добропорядочной семьи!

– Какой разврат?! – парировал Абрам Моисеевич, – Это психологи-

ческое лекарство для мужчин. Это стимул для перехода количества в качество.

Слушайте сюда! У меня сосед по дому, старик немец 87 лет. Последние годы стал меньше уделять внимания своей супруге. Она выговаривает ему за его слабость.

Пошел к врачу просить помощи. Врач сделал укол какого-то препарата и этого ему оказалось достаточно для восстановления потенции. Через пару дней, он снова появился у врача.

– Не знал я, доктор, что вы поможете мне так быстро, – горестно сказал он, – и объяснил, что, именно сейчас жена на два дня уехала к сестре.

– Так поезжайте за ней, – посоветовал врач, – страна-то маленькая, к вечеру доедете. – Да неудобно это... вот жалко, так быстро укол помог, хотя спасибо, конечно... – Бросьте расстраиваться и пойдите к соседке, – пошутил врач.

Старик вздохнул и горестно ответил: – А для соседки мне укол не нужен..., – торжествующе заключил рассказ Абрам Моисеевич. – И тут же добавил: – Вы знаете разницу между сексом и смертью? Нет. Так я вам скажу: разница в том, что умирать ты можешь один, и никто не будет над тобой смеяться.

– В Америке такие штучки, как у вашего дяди не проходят! – раздался голос из дальнего угла комнаты. Это один из посетителей – немцев заговорил по-русски, – Да, за такой адюльтер он бы долго сидел в тюрьме. Я немного знаю американских женщин, недаром прожил в Нью-Йорке несколько лет. Майне либе дамен унд геррен, скажу вам главное: американская женщина очень холодна эмоционально. У нее рациональное сильнее эмоционального. Это объясняется двумя факторами: поразительное чувство собственного достоинства и без ориентации на мужа. Радость чувств и тем более самозабвение от жертвенности ей почти полностью чуждо. Она не любит быть «использованной». Американка бесконечно предана своему партнеру, мужу или бой-френду. У замужней американки такая ценность, как эмоция, любовь-страсть занимает одно из последних мест.

Совершенно исключаются на работе скабрезные разговоры и шутки. Это нарушение тона и даже опасно для сотрудника. Намек на сексуальное домогательство – тюрьма. Ваш дядя Лео имел в России успех у женщин потому, что русская женщина поглощена эмоциями непрерывно. Если у нее нет активной эмоциональной жизни, она несчастна. Поэтому она непрерывно ведет учет своим поклонникам, тщательно классифицируя их и стараясь увеличить их число. Средняя интеллигентка считает, что идеалом для женщины является обладание мужем, любовником и другом.

Ощущение «один раз живем» и отсутствие других иллюзий усили-

вает жадную трату эмоций...

– Совершенно справедливо! – перебил его Абрам Моисеевич. – Как способный ученик и наследник дяди Лео, скажу вам пару слов о себе. Знаете, кем я был в Харькове? Известным и уважаемым человеком – заведовал химчисткой в Центральном районе города. Я левой ногой открывал все «черные» ходы продуктовых магазинов и баз! В молодости я узнал от любимого дяди, что женщина любит ушами и применил этот принцип на практике. Правда, я отличался от дяди тем, что он искал своих «жриц любви», а я не искал – они сами приходили в мою химчистку. Мое заведение, в условиях советской действительности, имело главное преимущество – подсобные помещения. В них я соорудил небольшую комнату отдыха с чешской тахтой, проигрывателем и телевизором. Рядом – маленькая кухонька с электроплитой и холодильником. Прием гостей и сервис был на высшем уровне!

В сравнении с дядей, я имел два отличия: первое, – последний десяток лет у меня было по четыре-пять любовниц, т.е. каждую неделю приходила другая; второе, – помня о том, что женщина любит ушами, я услаждал их слух стихами о любви. Мой знакомый поэт Шрайбер, член литературной студии, писал для меня каждую неделю новое стихотворение. За это я чистил его «родимые пятна» бесплатно – услуга за услугу.

Стихи я размножал на пишущей машинке и одаривал ими своих посетительниц. Было море восторга – каждая думала, что я сочиняю стихи лично для нее. Грустный факт, но я никого из них не любил по настоящему. Мне нравился процесс «влюбленности», когда я, как экспериментатор осваивал собственные приемы обольщения: с ласками и поцелуями, мыслимыми и немыслимыми позами «самосутры»...

Все женщины реагировали по разному, но все любили меня, восгоргались моими скромными достоинствами «секс-гиганта», не только дела, но и мысли.

Моя «ущербность» в детстве и юности сподвигла меня на любовные изыскания в зрелости. Казалось бы, все женщины одинаково созданы по образу и подобию божьему, ан нет! У каждой свой индивидуальный секрет, строение, формы, неповторимость тела и темперамента, своя изюминка... Пару слов о моих последних «дамах сердца»...

Сорокалетняя Валентина – симпатичная блондинка, обладательница груди потрясающей формы, бархатной кожи и золотистого «руна»... Девственная грудь, имевшая форму фарфоровых пиал, до сих пор у меня перед глазами. Если учесть, что при этом она была начальником первого отдела секретного научно-исследовательского института, т.е. сотрудницей КГБ, то можете себе представить мое волнение в моменты обладания таким сокровищем. В моей скромной обители она всегда появлялась с дефицитным набором: коньяк, икра, апельсины...

Через день ее сменяла тридцатилетняя, пышноволосяя Жанна – доцент института иностранных языков, обворожительная шатенка, неоднократно разрушительница нашего «семейного» ложа, ибо ее темперамент создавал иллюзию разрушительного землетрясения.

Кандидат исторических наук, заместитель директора музея, Оксана, была обладательницей аналитического ума и потрясающих ног, которые казалось росли прямо из ушей, с невероятно красивыми коленями, обтянутыми беломраморной кожей

Илья думал о том, что прожив жизнь он совершенно непонятен жене и сыну, родным и соседям. В прошлом начальство в институте терпело его присутствие только из-за его «непротивления злу», презирая его поэтические опусы и разностороннюю глубину знаний. Он, словно трава спорыш, прекрасно переносил, так называемое, втаптывание. Ведь эта трава выживает, несмотря на то, что по ней топчутся. Вот и люди, такие, как Илья, переносят втаптывание. По ним топчутся ногами, а они – ничего! Нормально себя чувствуют, отряхнутся и... растут дальше. По ним опять ходят, опять их вытаптывают, а они снова распрямляются и – пожалуйста, свеженькие, как ни в чем не бывало!

И еще Илья думал о том, что в отношениях между людьми, как и в мыслях, должна быть чистота. Чистота наших мыслей и дел чем-то сродни мытью окон. Когда их моешь становится светлее в доме, а затем и на душе. Есть целые страны (например Финляндия), где прозрачность оконных стекол является чем-то вроде коэффициента добропорядочности, чем-то вроде символа дома, усадьбы, рода. Это стало национальной чертой. Правда, добившись чистоты мыслей, необходимо еще научиться думать самостоятельно. Это ведь было когда-то традицией русских интеллигентов. Думать воистину самому, не подчиняясь императивам общепринятого, не слушаясь веревочек, за которые нас дергают авторитеты и просто знаменитости, отводя нам роль марионеток. Лев Толстой долго и серьезно опровергал систему Коперника. До тех пор, пока не доказал ее себе самому. Итак, в те времена, чтобы жить лучше, каждому, не побоявшись высоких слов, нужно было почаще спрашивать себя: «Чисты ли окна моей души?»

Его мысли прервал Абрам Моисеевич, который снова замурлыкал что-то из Верди.

– Я здесь трижды был, – не прекращая пения, доверчиво показав вставные зубы, тихо улыбнулся Абрам Моисеевич – Вот это да!-удивился Илья и начал чувствовать, себя маленьким Ильюшенькой, крошкой неопытной еще до Риты, и до... И новое состояние стало длиться и ныть в голове, в сердце, во всем организме, что-то в нем смешно переделывая, перестраивая, приводя в соответствие с новинкой: «Оказывается,

можно и трижды...»

В это время подошли новые больные, пожилые и уходящие.... Они и осведомились, присели и тихонько переговариваясь, заволновались.

Собственно, очередь занял только один из них – а всех их было трое – седой, похожий на бюст Дон Кихота, исполненный в белом мраморе, но без бороды.

А великий Хинкель все не появлялся. Время кануло в вечность. Возможно потому, что Илья подумал о вечности. Вечность – это выдумка, братцы. Да... Придумка это наша, вечность. Нет ее на самом деле. Есть непрерывное сейчас, которого тоже все время нет, потому что оно все время ускользает.

– А мне наплевать на ваше «трижды»... Лучше скажите читали ли вы в «Еврейской газете» интервью с Гаспаровым? – вполне реально услышал произнесенное Илья. – ...Грядут, грядут в России кровавые события в 2007 или 2008 году, – рассуждает интеллигентного вида мужчина, сидящий в углу. – Нынешняя власть – наследница той власти. Та власть была полностью советско-номенклатурной со всем набором благ в виде спецпайков, спецдач и санаториев. Эта власть – власть миллиардеров. Безусловно, самая богатая бюрократия в мире, имеющая доступ к неограниченным ресурсам и готовая свои привилегии защищать.

Эти люди понимают, что уход из Кремля означает не переезд во французскую или швейцарскую курортную зону, а потерю собственности и немедленное препровождение в «Матросскую тишину». Они могут не успеть воспользоваться тем, что награбили будучи у власти. Поэтому эти люди гораздо решительнее и могут пойти практически на все. У них нет аллергии на кровь.

– Да, что вы все о России печетесь?! Что вам до нее? Доживаете здесь на всем готовеньком, а все туда же... – зло бросил Абрам Моисеевич.

– Смените пластинку, господа!

От этих разговоров у Ильи стало свободно на душе: до смерти, братцы, еще далеко, если все сложится хорошо! А сложиться должно, потому что был еще запас сил, который ему казался природной энергией. Нельзя разучиться думать. Мысль существует в пространстве, именуемом Знание? А что такое знание?

Это материал для мышления. Это горячее размышлений. Столкновение двух понятий рождает третье... Как в стихах. Естественно, в настоящих, а не в тех, что за них выдают.

Люди сплошь и рядом думают, что они нечто знают точно и навсегда, в то время как знание это мнимо, оно внушено нам магией общеприятности. Ворон живет триста лет...

А кто такого ворона видел? Однако в подобных вещах сомневаться не положено...

Разумеется, можно жить и так – без проверки старинных мнений, без постоянной учебы, но это для головы... а что с душой? Иметь душу – это сострадать, не правда ли? А чтобы сострадать, нужно воспринимать чужую боль, как свою.

А в группе вновь прибывших разговор плавно перешел на тему изобретательства. Некто изобрел нечто всем необходимое, произошло это много лет назад. Некто поседел, но не внедрил. И самосочинилась прямо романтическая баллада о добре и зле.

– Оно, зло, всегда торжествует, – тихо сказал старик, похожий на Дон Кихота, но был услышан своими спутниками и поддержан ими. Изобретательский ферайн при Еврейской общине – пустой звук...

Короче говоря, на душе у всех было очень мерзко. Все было выкидышем. Ничего не могло родиться.

Мимо, окруженный толпой белых халатов, начальственно промелькнул профессор Хинкель. Он торопился ради жизни, ради этой его спасательной повседневности, высокого жречества на краю дельфийской пропасти, черт возьми.

Хинкель передвигался торопливо, лавируя между людьми, и Илья подумал, как когда-то давно: «Ну и коэффициент проходимости!...» И еще в мыслях добавилось новенькое: «А я уже немножко привык...»

А в это время Абрам Моисеевич что-то у него спрашивал. Но он не слышал. Тот говорит, а он не слышит.

– ... тапочки. – Простите, что? – вернулся в реальный мир Илья.

Постепенно он осознал, что Абрам Моисеевич говорил о преимуществах немецкого здравоохранения, в то время, как в больницах Украины отсутствует не только достаточное количество койкомест, но также шлепанцев, халатов, картошки, ложек и вилок, сестер медицинских препаратов, свежего воздуха, нормальных кроватей, тишины, зимнего сада, сочувствия и внимания со стороны...

Илье надоело это перечисление недостатков украинского сервиса и он, не отреагировав, снова вернулся к своим мыслям. На минуту он представил себя молодым, несмотря на то, что был в летах. Недавно он понял, что именно в этом и состоит различие в психологиях стареющих дафнисов и хлой. Так уж повелось: они, хлой, готовятся к старости хоть как-то, пускай стихийно, пускай всего лишь раньше об этом начинают думать «бабий век – сорок лет», а если и не начинают, так их тысячу раз подгонят бестактные мужланы, так сказать, «хамы в законе» – то не так взглзнут, то не туда, то не затем, чтобы...

И выстроилась длинная очередь ассоциаций, и появились дальние и

давание знакомые, которые познакомились в больницах, только, кажется, не в таких, а в нормальных.

И поженились... Мысли заклинивало. Вдруг, всплыло предположение, что во время катастроф люди могут не отличаться от одноклеточных, от вирусов, от каракатиц и всяческой живности этого мира, что реагирует или не реагирует на свет и сконструирован так, чтобы стремиться к выживанию. Хочешь не хочешь, желаешь выжить, потому что в тебе это за – ло – же – но.

Пожилая группа, пришедшая с Дон Кихотом без бороды, но с новообразованием, как позже выяснилось, на пищевом, вела себя уверенно. В ней чувствовался какой-то чуть ли не профессиональный подход к делу. Здесь не могло быть никакой осечки со шлепанцами или там со спортивным костюмом.

Какая-то старосветская уместность, что-то трогательное, вечносемейное, незапамятное, сохраненное несмотря на п е р е л о м на седьмом десятке нудноватого супружества, полуненависть, которая чудом превращается в уже не преходящую, безысходную привязанность – там, за последним поворотом жизни. В нынешние нетерпеливые времена не многим суждено до такого досуществовать, дотянуть, дотянуться...

Правда, это и не всем надо, наверное. Флобер, судя по его письмам, обходился. И переносил свои катастрофы самостоятельно. Соло, так сказать. Кому, что...

Есть ли надежда на человеческое в людях? Что думать об этом мире на пороге ухода из него? Что может сделать жизнь человеческой? Уверен, чтобы обращаться со всегда трудным настоящим, нужно научиться общаться с прошлым..., – думал ...Помню, в моей прошлой жизни, меня умилил слесарь-водопроводчик. Он чинил унитаз в моей квартире и, шевеля своими по-детски выпученными губами, говорил, как он недавно влюбился в чтение.

– Теперь хочу достать Ефремова... У вас, случайно, ничего нет?

У меня не было.

– Я за «Таис Афинскую» отдал двадцатник. Жена такое устроила! А я вот – хочу и все. А раньше не увлекался...

Мы оказались с ним на полпути к родственности, создаваемой общим почитанием кое-кого из давних – давно умерших, или даже просто интересом к прошлому.

Правда, сегодня мало кого интересует то, что заинтересовало моего водопроводчика. Им не понять почему сегодняшняя радость немислима без пещерных рисунков, без Перикла с Аспасией, без римского величия и римской кутерьмы, без Аттилы, да Карла с Артуром, без

Шекспира и Батюшкова, без наивных звездочек на темно-синих маковках Киево-Печерской лавры, без пушкинской честности, без большого и малого, которое теперь значительно, – почему без этого всего немыслима сегодняшняя радость?

– Какая радость, когда мы на краю гибели?! Какая разница от чего погибнуть? Вы предпочли бы гильотину, мон шер? – долетело до Ильи из дальнего угла комнаты, где сидели еще два клиента на обследование.

– А вы, предпочитаете пулю или рак простаты, товарищ трудовой интеллигент?

– Я бы выбросился из окна ... – тихо прозвучал ответ.

Илья вздрогнул, мгновенно представив себе, как он летит с двадцатого этажа на асфальт. Упал возле мусорника, переполненного голубями. Успел подумать об облегчении. Замер и не понял: умер или еще жив? Плавно перешел в бесконечность неосознанности... Представил, как превратился в прах. Ушел в землю, покрытую травой.

Корова съела травку, чья-то мама попила молока, и немного Ильи вошло в новорожденного... Круговорот в природе. Замечательная глава в «Родной речи», вечная, неизменная, философская.

– Скажите мне искренне, – вы читаете в туалете? – меняя тему разговора, задал вопрос интеллигент.

– Бывает.

– Понятно. А стихи?

–...в туалете? Я – читаю. Да...

– Лорд Честерфильд своему сыну тоже советовал читать, Горация.

Что творится в этих головах, когда человек сидит возле приемной профессора онкологического стационара, – подумал Илья. – Когда можно еще убежать куда-нибудь и умереть по-собачьи – так сказать в благородном уединении. Где никто не должен отрываться от своих любимых дел... Сбежать под сосну, уткнуться лицом в траву...

Но – поздно. Трава в июне – августе, а сейчас декабрь. У нас...

– Короче! – внезапно перебил мысль Ильи один из подошедших, мужчина лет пятидесяти в джинсовом одеянии с цветным шарфом на шее. – Короче, говорю! Меня зовут Гоша. Еврей по национальности.

– Шо? – растерянно спросил интеллигент с голосом одессита.

– Ты, я смотрю, глухой у нас! Я тебе говорю «короче» – поэзию разводить. Здесь сплошная проза жизни: новообразования и надежда!

Абрам Моисеевич переглянулся с Ритой. Они улыбнулись друг другу, как давние знакомые и чем-то поделились в мыслях. Может быть это был их первый и последний взгляд.

– Эх, пивка бы для рывка! – Гоша подмигнул Абраму Моисеевичу.

– Пиво делает человека глупым, сказал один из политических деятелей прошлого, – парировал Абрам Моисеевич.

Бисмарк сказал. Би – смарк! – вставил Илья.

А ты, кажется, прав! Вроде бы он таки...

- Давайте, я вам лучше сказку про ОБХСС расскажу, – решительно, даже несколько агрессивно, перебил говорящих одессит. – У меня в говнове – Дом Советов. А в нем – опухоль нашли.

Илья встрепенулся, представив прощанье с жизнью, отвлекаясь на секунду от своего вдрызг проигранного эндшпиля, от игры, которая и не игра вовсе, от жалкого своего занятия – преднамеренного очерта-ния бытия во всех его проявлениях: от первой любви до... от маминой груди до могилы, в которой он, Илья, теряющий имя потому, что не приобрел его, пользуясь этой расширяющейся вселенной, городами и песами, улицами и товарами очень широкого потребления, не дочитал Пушкина, не доперевел Рильке и не дослушал Баха, не заметил души у соседской девчонки, не отринул лень от рано состарившегося сердца, не растворил безразличия в нестыдных слезах сострадания, не доделал того и этого, не уделил внимания отцу-матери в непонимании их, умирающих, уходящих, оказавшихся сильнее и добрее его, не доплакал на могиле сестры жены, которую можно было спасти и любить понежнее; так и не услышал о популярной теореме Геделя и о том, что Ариадна жена Диониса, а Коля, который попал под трамвай в шестьдесят третьем – гениальный трубач; так и не осознал, что Лобачевский был современником Пушкина и что в доме напротив живет женщина, влюб-ленная в него много лет, красивая и не так давно бывшая девушкой с полосами цвета льна, женщина все еще не расставшаяся с молодостью под музыку Клода Дебюсси, обожающая вечернее небо в августе, когда срываются звезды и, словно янтарь, падают сгорая, не долетев до земли.

Илья... теряющий имя потому, что не понял зачем – он, зачем – все и всё, не понял, не познал, не дойдя до последней черты, не перейдя чер-ту, за которой хоть кое-что становится ясно, и ты начинаешь верить, что мерзкого мира нет, что это твоя защитная выдумка, что мир – и такой, и иной, что в нем есть одно, и другое – как минимум интересное, не гово-ря уже о присутствии в нем подлинного, настоящего, прекрасного... только этого мало до ужаса, до четкой убежденности в том, что великое и хорошее просто показалось, а если это так, тогда легче уходить, на-совсем покидать эту землю, где...

Абрам Моисеевич что-то тихо говорил с собеседниками... Вдруг громко прозвучало слово «Любовь».

- Простите, что вмешиваюсь, – вступил в разговор Гоша, – но при слове «любовь» не могу не добавить.

- Думаю, что любовь – это, в конечном счете, желание жить за счет другого, что и ведет к уничтожению объекта любви. Вот почему вовсе не парадоксально утверждение «чем больше любви – тем больше раз-

водов». Так люди спасаются от гибели. Кроме того, любовь без участия интеллекта — клавишин в натуральном строе, а любовь, соединенная с умом, разумом или в идеальном случае — с мудростью — это хорошо темперированный клавишин. Меня не устраивает температура, что сродни умеренности в любви. Может быть поэтому я избегаю серьезных отношений с женщинами.

— Любовь приходит и уходит, а пива хочется всегда! — ехидно завершил его монолог Илья.

— А может, уже пора, — воспользовавшись паузой, обратился к присутствующим Дон Кихот. — Что-то они затягивают. Сказали ведь к одиннадцати, а сейчас...

— А сейчас и есть без двух минут одиннадцать, — педантично заметил Абрам Моисеевич и подмигнул Рите. — А пока пускай Гоша еще про любовь расскажет... Правда, когда «нет пороха в пороховницах», лучше говорить о погоде...

— Как прикажете, — ответил Гоша.

Что приказывать?... Продолжить в рассказе можно многое: то, что прекрасно осмысливается в рядах образов, полных поверхностного значения, то, что на первый взгляд никак не способно в сочетании друг с другом что-либо значить. Бывает, разумеется, по-разному — одному понятно, а другому нет. Дело житейское. Жизненное дело... В жизни ведь извечно поначалу выстраивается ряд не смыслов, но событий, а потом оставшиеся в живых устанавливают причинную связь.

И опять я смотрю на исписанные листы с десятками лиц, чтобы убедиться: тот который справа, похожий на Дон Кихота, стоит со мной в очереди за «результатом». Все такой же, каким был пятьсот лет назад, только в другой одежде. А того лысого, сидящего в углу, я видел в начале этого года по телевизору, в местной русской передаче «Значимые люди».

Теперь он здесь сидит и, в преддверии *ЭТОГО*, думает, возможно, о будущих выступлениях по телевидению. Страстно желает, чтобы его снова увидел весь мир.

Он занимается критикой, что нынче дозволено. Недозволенной он по-прежнему не занимается. Он знает все, даже то, чего не найдешь в Большой советской и Оксфордской энциклопедиях вместе взятых.

Хочется выключить телевизор и плакать, плакать, как когда-то поэт в увековеченном им феврале.

Должен сказать, что и прочих персонажей найти не трудно — пока они еще живы, их лица имеют много человеческих признаков.

Давид Яновский

Родился 28.03.1933 года в Киеве. Инженер. В Германии с 1997 года. Публикации в альманахах «До и после», «Ступени», «Голоса», «Соборность». Книги стихов и переводов «Стихотворения». «Стихотворения» в двух выпусках.



* * *

Мы себе представляем будущее,
Словно нечто не существующее,
Но может быть рядом, в другом измерении,
Оно существует со дня сотворения.
Оно, как и прошлое, — неизменно;
По измереньям мы мчимся незримым.
Бег этот мы называем временем,
Дыхание рока мы чувствуем теменем...
Грядущее редко беседует с нами;
Порою приходит к нам вещими снами,
Порою предчувствием душу тревожит,
А чаще — до нас достучаться не может.
Но горе Кассандрам и Лаокоонам,
В грозные тайны судьбы посвящённым:
Хоть знаешь судьбу, не подстелишь соломки.
Напрасно взывает к нам голос их ломкий,
Напрасны их вестие предупрежденья,
Незнание судьбы — это наше спасенье.

СОЛНЦЕЛИКАЯ СОЛНЦЕ ЛИКА Я

Блестят на солнце мелкие снежинки,
Наполнен воздух яркой мишурой.
Твоих кудрей упругие пружинки
Слегка колышет золотистый рой.

Позолотило солнце каждый волос,
Позолотило зелень милых глаз,
Как будто небо тихо раскололось
И золотая лава пролилась.

Тобой любуюсь, как залётной птицей,
Я не мечтаю больше ни о чём,
И пламенем любовь моя струится,
Соперничая с солнечным лучом.

В тебе соединились визави
Свет солнечный и свет моей любви.

* * *

Что скажут о милой мои похвалы?
Что скажут глухому певучие струны?
Чтобы понять красоту Лейлы,
Надо смотреть глазами Меджнуна.

П.И.ЧАЙКОВСКИЙ.
ТРИО «ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО АРТИСТА»

Виктору Йорану

Тенор скрипки, баритон виолончели,
Многострунный звон фортепиано...
Нас несут смычковые качели
По незримым волнам океана.

Я не знаю, что они пророчат,
Эти звуки траурного трио,
Но душа моя умчаться хочет
За мелодией шемяще-прихотливой.

**ХОККУОБРАЗНОЕ И
ТАНКАПОДОБНОЕ**

* * *

Цветной ковёр.
Пройтись бы босиком,
Жаль холодно.

* * *

Осенний дождь,
И в луже на балконе
Луна кривляется.

* * *

Звезда упала.
Загадать желанье
Я не успел.

* * *

На лица сверстников
С печалью я гляжу.
Как постарел я!

* * *

Старая песня на идиш.
Вот уже много лет
Нет тебя, мама.

* * *

Вагон качает,
На моём плече ты спишь.
Боюсь пошевелиться.

* * *

Холодная постель.
Друг друга согревая,
Молчим.

* * *

По потолку
Бегут полосы света.
Закрыты окна,
С улицы ни звука.
Бессонница.

* * *

В мой дом залетела оса.
Бьётся в окно,
Бестолковая.
Что знает оса о стекле?
Что о судьбе мы знаем?



БОРИС РОХЛИН

Родился 22.1.1942 в Ленинграде. Филолог. В Германии с 1992 года.

Публиковался в журналах и альманахах: «Грани», «Мосты», «Литературный европеец», «Студия»; «Ключ», «Звезда», «Славянские чтения», «До и после». Книги повестей и рассказов: «Приватные рассказы», «У стен Малапаги».

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ПИЛИГРИМ

(отрывок)

Всухомять живу. Сам решил. И отказался. Жизнь вокруг идёт и оживляет местопребывание. Но не устраивает по обстоятельствам. Решил сохранить свободу выбора. Говорят: выбор, выбор. Выбирай. Можно свободу, а можно не. Второе сытнее, покойнее и обеспечивает. Благосостояние и прочее. Но манкирую намеренно. Сознательно гол, и горизонт открыт. К тому же не умею. Раньше старался, но не вышло. Понял и пребываю на обочине.

Сегодня живёшь. Завтра отошёл в мир иной. И нет. След затерялся, простыл. Не отыскать и с гончими. Поэтому не тороплю. Наблюдаю издали и со стороны.

Утром, в очередной раз, подставила кулак под нос и спросила, чем пахнет. Сказал, смертью и поцеловал руку. Покорно. Я и всегда смиренный. Смирился, но не горжусь. Уничтожение паче гордости. Знаю. Но в обыденной не использую. Таково правило. Установил и не нарушаю.

Всухомять жить непросто, но сохраняет перспективу. Под парусами, на вёслах. Наконец, только тень и гребёт. В царстве тишины и безопасность гарантирована. Гротеск, конечно. Но приятно. Сам не выдумываю. Приходит, высказываюсь про себя. Нет посещения, молчалив и в задумчивости. Память на всякий случай сохраняю, но не складываю гам на будущее. Оно сомнительно, и лишняя тяжесть ни к чему. Жизнь подскажет, в какую двигать. Конечно, не в ту.

«Врезать бы тебе! Ни плюнуть, ни пепел стряхнуть некуда от твоих мыслей, мыслитель».

Вот жизнь любимой устроил.

За окном собака залаяла по-зимнему. Стало темно и ветрено.

Живу прошедшим. Иногда прикасаюсь к тайне, робко и невнятно. На ощупь, вслепую. Паутина земли. Предполагал прямой путь и светлое будущее. Выяснилось, живёшь одноразово и запасной нет. Ни жизни, ни страны.

Один. Снимаю обувь. Мою руки. Читаю вопросник:

«Чего Вам в жизни не хватает?»

«Всего».

«Так Вы ни в чём не нуждаетесь. Не волнуйтесь, зачтётся по справедливости».

Где уж нам, дуракам, чай пить. Захотел гипотетически или гипогенузно. ...кант и робеспьер – два близнеца; манны: томазы, генрихи, голо, клаусы; философия музыки адорно, история догматов гарнака, натурфилософия из духа мистики карла, сентэвримоновский парадокс: мол, богу не хватает нас, а нам не хватает его; амадис гальский монгальвы и рукопись, найденная в сарагоссе, графа п. : абулафия родился в сарагоссе, тудела находится в королевстве наварра, генрих, будущий четвёртый – проказник, и париж стоит обедни, однако, кинжал и проказы закончились.

У меня жопа в воде не держится, – говорит. Океан солёной воды и бермудские острова.

Не то что с тилличкой, оттюкает и сразу на другое отвлётся. Сейчас что-нибудь прокозлит.

Метафизика трагедии подойдёт. Игра человек и судьбы. Зритель Бог, в первом ряду партера. Не вмешивается. Лорнет, жабо и смотрит. Где происходит, не уточняется.

Молот ведьм, гленвилловские привидения, обманы, нечистая сила, чары и зелья. Ближе, очевиднее, понятно в повседневности. Похищение локона, орозий со своей историйкой, путь паломника баньяна. Уже теплее и заблудился.

Юный Серафим делал карьеру на женщинах властных структур. Умел подкрасить унылую начальственную жизнь. Бабы неглупые, красотой не задеты. И без скотства дня прожить не могут. Но чего не сделаешь ради роста.

Смелый был парень арий. Ниспровергал и против. Мятежник с философским уклоном. Пресвитер в Александрии. Отвергли и отлучён в городке Никея. Праздновали двадцатилетие царствования. Возвратите мне, – тосковал император, – ясные дни и спокойные ночи, дайте мне насладиться радостью жизни, дайте возможность путешествовать. Не рассуждайте о вещах тёмных. Не дали и стали рассуждать. Бедный костя.

Платформа поплыла, стала ускользать. Грязные, в потёках, окна вагона уходили, сливались в одну слепую линию. Ещё мгновение было видно лицо, близкое, знакомое издавна. И глаза.. О чём-то просили. Или прощались. Предвидели разлуку. И встречу. Обряд короткий. Крышка закрывается. Лопаты мелькают. Место песчаное, сухое. Повезло. Минутное дело и засыпали. Пригоршню сам. Давно было. Вспоминается часто

И всегда некстати.

Возвращаемся к. Берём наугад. Любую вещь. Бытие и форма определяются нами. Никто не навязывает. Из прошлого, из настоящего. Если угодно, из будущего. Вспоминаем часто, как оно там будет с нами. Меняем внешне. Усатриваем произвольно. Ариосто, Аскольдова могила, Асфodelий.

Асфodelий. Нежный юноша в роговых очках. Любил Шопена и немецких романтиков.

Новалис, Новалис, – как сейчас помню.

Учился на юридическом и стал прокурором. Сроки требовал беззаветно и на полную. Преуспел, страшно сказать как. Мог бы ещё и ещё. Не умел плавать, зачем-то поплыл. И утонул. Все удивлялись. Я тоже. Песчаный пляж и никого. Кроме него. В одиночестве и лежит. Догадок решили избежать, похоронили тихо. Под шелест лиственных. Лето было в разгаре, всё цвело и плодоносило. Южный и тёплый овал.

Забыли сразу. Правильно сделали. Мало ли что. Бедный Асфodelий. Говорил я ему, романтизм до добра не доведёт.

Вчерашнее забываю. Помню давнее. Вы снова здесь изменчивые тени. Против не имею.

Отчётливо и буднично. Ноябрьская ночь на склоне. Туман и дождь. Зонты косых фонарей.

Их свет протягивается в далёкость набережной. И в этом пугливом свете, как в припадке падучей, бьётся и исходит тоска дождя.

Что-то там по поводу антиобщественных наклонностей, без которых навсегда остались бы непроявленными таланты посреди Аркадии пастушеской жизни. Люди, столь же благонравные, как овцы, ими пасомые, не стали бы... и т.д. Хватит на сегодня. Пора и чаю выпить.

Размышления аполитичного. Размышления заблудившегося. Заблудившегося пилигрима. Искал Грааль. Нашёл погоду за окном этажа. Уныла, ветрена – жизнь в ветреную погоду – дождь со снегом. И листья облетели. Туман размывает перспективу и скрашивает пейзаж.

Как в кино. «В столь долгом отсутствии». Пустынная ночная улица. И некто поднимает вверх руки. Сдаётся. В который уже раз.

Искусство изображает мысль, но её нельзя просить. Сочетания слов – целесообразность без цели.

Смутно, грезится. Паутина рук, голосов. Волнение, сумятица, сму-

щение чувств. Гул поздней улицы. Тепло, отдаваемое домами, нагретыми за день солнцем. Рукой вспоминаешь, что забыл часы. Предчувствуешь нищету земли и скудость наступающего дня. Рассвет ещё не наступил. Но будет. Что-то говорит об этом.

Логика искусства есть логика видимости, логика иллюзии. Философ запретил нам воспринимать смысл искусства осмысленно. Я смиренный. Принимаю. Не буду осмысленно.

История одного поражения, племянник рамо, книга блеска и рассуждения о методе, негативная диалектика и анатомия любви.

Фаина Германовна и Юрий Мстиславович любили друг друга. Инженер и чертёжница. Жили в большой коммунальной квартире. Вид на Неву. Они были тихими, очень тихими.

И ходили, и разговаривали неслышно. Но однажды пришли или приехали. И комната на шестом этаже в доме стиля модерн освободилась. Никто не спрашивал, почему, за что. Я тоже. Когда пришли за мной. Вот оно как.

Искусство открывает зрелище удачного объединения деталей. Случайность переходит в закон. И кажется, что случайность и закон были заранее созданы друг для друга. Потому их встреча прошла подготовленной. Грамотно задуманной и спланированной.

Вчера гуляли в Летнем саду и встретили ангела. Настоящий, подлинный. Прост в обращении, одет прилично. Соответствует времени года. Похож на чиновника аппарата среднего звена, продавца галантереи, официанта номенклатурного ресторана. Там учат хорошим манерам. Обвораживать клиентов и рост чаевых.

Он напомнил мне одного моего знакомого. У него было странное имя – Гамалиил. Усики, рост, манеры. Но тот никогда не был ангелом. Он был сочинителем и написал иронический роман. Когда-то давно были поэмы. Но чтоб роман! В одной организации читали. Сам и принёс. По их просьбе. Роман не вернулся к автору. Остался на память. Была у Гамалиила и трагическая любовь. И Гамалиил переквалифицировался в антелы.

Я давно не видел его. Перейти в ангелы в такой ситуации несложно. Многие совпадали:

Английская корректность, лёгкий налёт чопорности и даже знание языка. Ангел по временам переходил на английский.

Он сам подошёл ко мне. Поздоровался. Беседа завязалась. Скорее, монолог. Я слушал. Он говорил. Оказался начитанным ангелом. Особенно в политэкономии. Сообщил, что не в ладах с капитализмом. Его он знает не понаслышке. С социализмом знакомство поверхностное. Есть ли он? Ангел и о таких материях. Какие-то нелады с женщинами. История отвергнутой любви.

Неожиданно он прервал свой монолог. Вы, кажется, о чём-то задум

мались. Не буду Вам мешать. К тому же мне пора. Мы обязательно ещё увидимся. Обещаю. Он кивнул. Быстро пошёл по аллее. И исчез.

Всё осталось на своих местах: деревья, скамейки, статуи. Время года и месяц август. И – месяц цезарей – мне август улыбнулся. Прозрачная стремнина времени. Крики детей на садовых дорожках. Явление ангела. Ангел западного окна.

Задумчивый, я вернулся домой. Записал то, что Вы, вероятно, прочли. И забыл об этом. Игра света и тени? Расстроенного воображения? Впрочем, всё имеет продолжение. Но об этом после.

Приехала англичанкой. Та осень с листвой. Неожиданно для себя я сказал: «Я живу только потому, чтобы тебя не огорчать».

Она поднесла кулак и спросила: «Чем..?» Я поцеловал руку.

Счастье? Да вот оно. Ищите и обрящете, стучитесь и отворят. Искал, стучался. Не отворили. Но она есть. Остальное неважно.

Альфред Ходорковский

Родился в 1934 году на Украине.
Преподаватель. В Германии с 1995 года.
Публикации стихов, переводов, рассказов и статей в альманахах «Третий этаж», «Скипач из гетто», «До и после», «Антологии 2001». Книга стихов «Откровение».



* * *

Спросила вдруг: Что нынче с Вами стало?
На Ваш вопрос ответить я не смог
И не сказал, что серая усталость
Невидимо ступила на порог,
Проникла беспрепятственно в жилище
И, обойдя собрание мудрых книг,
В моих стихах упрямо что-то ищет,
Как будто позабыла что-то в них.
А что искать и в чём же разбираться?
Живые страсти тихо улеглись –
И немощны попытки имитаций...
А за порогом – фейерверком жизнь.
Она полна неожиданных откровений,
Загадок, просветлений, озорства,
Бессонниц частых, редких вдохновений
И тайных слёз – без них она мертва.

...Бегут года. Поди ж, какая жалость!
И всё короче с Вами диалог.
А виновата серая усталость,
Которая ступила на порог.

* * *

Мы всё ещё с тобой на переправе,
И впереди – неяркий брезжит свет.
А позади – и правых, и неправых –
Сплетение невозвратимых лет.

Хотелось бы отринуть и проснуться,
Прервать бы нескончаемую нить
Бесчисленных потерь и экзекуций,
Которых не дано нам позабыть.

Не дремлет память, не даёт покоя.
Скорей бы постучал в окно рассвет...
- Скажи мне : счастье – это что такое?
- Когда вражды и ненависти нет.

КОНТРАСТЫ

Кипят безудержные страсти –
На радость или на беду?
Весь мир безумствует в контрастах
У дьявола на поводу.

И не случайно, не напрасно
В противоборстве двух стихий
Переплавляются контрастно
Любовь и ненависть в стихи.

* * *

О тайна, приоткрытая едва!
Ты заставляешь сердце колотиться.
Приобретают силу колдовства
Предположения, догадки, небылицы.

О тайна, приоткрытая едва!
Такой ты появилась предо мною.
Кружится от вопросов голова –
Непознанное не даёт покоя.

КАТРЕНЫ

* * *

Бесконечность. Зыбкая звезда
Ненароком надо мной повисла.
Темноты и света чехарда.
Час рожденья беспокойных мыслей.

* * *

По-разному приходит час итогов...
Отрезок жизни – некая черта.
И сон – не сон : вселяется тревога
В туманность глаз, в немотные уста.

* * *

Когда весна рождает всплеск зелёный,
Я снова – будто юноша влюблённый.
Плывут мечты, как сигаретный дым...
Весну встречаю снова молодым.

* * *

Наша жизнь – это лишь интермеццо,
Хоть берём за редут редут.
Не успеешь вокруг оглядеться,
Как другие на смену идут.

* * *

Как это печально, как это тоскливо,
Что только вначале любилося красиво.
Исчезли желанья, приблизились дали
И лица любимых привычными стали.

* * *

Он пребывал в преддверьи славы,
И благовонный фимиам
Курился часто тут и там :
Кто просто лгал, кто льстил лукаво.

* * *

Чтоб слыть учёным человечком,
Ты в разговоре не забудь
Блеснуть ненашенским словечком,
Приткнув его куда-нибудь.

-

ГДЕ ТЫ ТЕПЕРЬ?

Явилась осень как-то невзначай,
Замучила бессонными ночами.
Природы вековая печаль
Пришвартовалась к моему причалу.

Набеги волн раскачивают борт,
Над головой – стенанья чаек вздорных.
И каждый день обыденностью стёрт,
Как будто серым пологом задёрнут.

Где ты теперь? В какой попала плен?
Я на крюках вопросов запоздалых
Повис, изнемогая от измен,
В напрасных ожиданиях идеала.

МОХОВОЕ ОЗЕРО

Моховое озеро – сон в лесной глуши
Приютилось в памяти, в тайниках души.

Моховое озеро, солнечный рассвет,
Где-то твой невидимый потерялся след.

Сосны-великаны, кудри лозняка,
В глубине лазурной тонут облака.

А как только на небо выплывет луна,
В Моховое озеро смотрится она.

И о том, что было за туманом лет,
Не раскроет тайны, не расскажет, нет.

На Ваннзее-озере, где царит покой,
Захлебнётся сердце сладостной тоской.

Под берлинским небом, в дальней стороне,
Моховое озеро вновь явилось мне.

Родилась в Киеве. Математик-программист. В Берлине с 1994 года. Публикации в альманахах: «Берега», «Параллели», «Ступени», «До и после». Книга стихов «Я не от плоти...».



ЧАС БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ

Из распахнутых дверей соседнего балкона доносился запах кофе и звуки приглушённой музыки. Сквозь прозрачные занавески то сливаясь с полумраком комнаты, то принимая всё более отчётливые очертания, в медленном танце двигались фигуры. Через какое-то время, показавшееся ему бесконечностью, занавески раздвинулись и на балкон вышел мужчина. Огонёк его сигареты то и дело вспыхивал и освещал его лицо. Покурив, он послал окурочек и плевок в ночь на голову запоздалому прохожему. Впрочем, улица была пустынна. Время приближалось к полночи и звёздное небо глазами Большой Медведицы глядело на землю.

Прошло несколько минут, и к мужчине присоединилась женщина. Даже темнота не могла скрыть их объятий и недвусмысленности поз. Эти двое наскоро творили *Любовь*. Человека, наблюдавшего в просвет штор за происходящим, прошиб пот – кровь ударила ему в голову. По тихому смеху и тембру её голоса он узнал женщину из квартиры напротив. «Как же она может? Какая гадость! Кто дал ей право выставлять напоказ интимные подробности своей жизни»? Он задышался, но не отрывая глаз, наблюдал за происходящим. Его тошнило, к горлу подступала слюна, но он боялся сглотнуть.

Уже не впервые, простаивая по вечерам у окна, он наблюдал за ней, за её раздевающимися силуэтом. Обзор из его окон, расположенных под углом к соседским, был ограничен. И то, чего он не мог разглядеть, дорисовывало воображение. Много раз давал себе обещание покончить со своим отшельничеством и вместо вежливого кивка, которым обменивался с ней при встрече – заговорить. Но всякий раз, словно боясь нарушить обет молчания, проходил мимо. Что-то останавливало его

от знакомства с нею, притягивающей и отталкивающей одновременно. Одно он знал наверняка – она плотно завладела его сознанием, нащёптывающим ему: «Сойдись с ней. Убей свою страсть». Чем она так зацепила его? Своей раскрепощённостью? Он чувствовал, что теряет голову от этой женщины, высокой, худой, одевающейся во всё чёрное, с зелёными, как у русалки, глазами во всё лицо. Часто, когда в её окнах гас свет, он набирал её номер, наблюдая за вновь вспыхивающим светом, слушая её *алло* и долгие гудки. При редких встречах она держалась отстранённо, делая вид, что ни о чём не догадывается. На самом деле она конечно же прекрасно понимала, что творится с ним, но отводила глаза от его тяжёлого, немигающего взора.

Его бил озноб. Она отравила его надеждой ожидания. Покушалась на его чувства к ней. Чувствуя себя обманутым, отвергнутым, он прошептал: «Лгуня. Гнусная лгуня. Дрянь». Он не мог больше этого выносить. Он должен был это остановить. А может быть начать сейчас? Именно сегодня всё следует исправить? Он схватил трубку и набрал её номер.

Услышав звонок, раздавшийся в столь поздний час в комнате, женщина отпрянула от мужчины, державшего её в объятиях. Ей вдруг стало холодно и страшно, и человек за шторой увидел, как на мгновение приостановившись в дверном проёме, она оглянулась на его окно. В темноте блеснули её глаза, взгляд проник за штору, где он, стонущий, как раненый зверь, различил её голос: «Это – снова он». Ещё долго до него доносился телефонный звонок, но на том конце провода никто не снял трубку. Он не испытывал ни угрызений совести, ни раскаяния. Ему не в чем было себя упрекнуть. Эта женщина была навязчивой идеей, граничащей с одержимостью. А он? А он – не милый. Не сентиментальный. Не нежный. Просто – одинокий. И ему было страшно прервать это одиночество.

На следующее утро он долго стоял у входной двери, прислушиваясь к тишине в квартире напротив. Простояв довольно долго и ничего не дождавшись, поехал на работу. В течение дня много раз набирал её номер, но телефон молчал. Он не мог работать. Не мог сосредоточиться. Ему хотелось заглянуть в её огромные зелёные глаза, сказать: *прости*. Да и сам он готов был ей всё простить, даже то, чего не было. Вечером он вновь устроился за шторой, но в квартире напротив было тихо и темно. Так было на другой день, на третий... И только к концу недели, вернувшись домой, он увидел, как в раскрытые двери квартиры напротив вносили мебель и вещи. Войдя к себе, он бросился к окну и раздвинул шторы. На дверях соседнего балкона отсутствовали занавески, и в комнате, залитой электрическим светом, сновали чужие лица. Он высунулся из окна и, запрокинув голову, взглянул на звёздное небо. Оттуда не него смотрела Большая Медведица. Она усмехалась, скаля зубы...

НИ О ЧЁМ И... ОБО ВСЁМ

Оказалось, что нити, соединявшие её с прошлым, гораздо длиннее её отношений с этим прошлым. И тысячу раз можно спрашивать, как и когда она *облущилась* этой любовью, проникшей в неё непоправимо. Когда? И зачем? Ведь даже тогда хотелось, чтобы всё поскорее закончилось или продолжалось вечно. Но сколько угодно, сдерживая тоску и печаль, можно искать в этой зыбкой жизни постоянство. Сколько угодно, сквозь пламя свечи, всматриваться в прошлое. И от этого не становятся совершенные ошибки светлей. И ты отпускаешь любовь, продолженную во времени, но она не отпускает тебя и нити её, словно натянутые струны, удерживают твоё подсознание. И разрывается голова... И мысли взлетают, как самолёты... И всё чаще и чаще ты оказываешься на берегу неба, где звуки, смешиваясь друг с другом, становятся неразличимы. А вокруг – проливной дождь, и ты – одна в этом промокшем мире, заблудившаяся в нём, так и не сумевшая приспособиться к нему и всё меньше и меньше верящая в состоявшуюся себя. Тиражируя боль, которая подобно лавине уносит всё и может разрушить тебя саму, ты пытаешься абстрагироваться от всего вокруг, пытаешься очистить душу от страстей в её полёте к вечным истинам и уговариваешь себя, что твоё жалкое маленькое счастье – ничто по сравнению с Вечностью. Внушаешь себе, что поглотит день ночь и останется радость. Обязательно – радость. От молодости детей. Оттого что существует воздух, дающий тебе возможность дышать. Оттого что наступает Время, когда ты, наконец, начинаешь что-то понимать в этой странной жизни. Однако, твоё подсознание всё равно настигает тебя и хочется затеряться в облаках или расстаять в тумане. И хочется забыть все слова, потому что нужных не найти...

Не исправить прошлого. Не изменить настоящего. Но будущее, где ожидает самая главная тайна, уже можно предвидеть. И для этого вовсе не обязательно созерцать, как хрональная энергия или ген жизни, с только им присущим ритмом, отстукивая минуты настоящего, превращают их в прошлое.

ЗДРАВСТВУЙ, РАЗОЧАРОВАНИЕ

(Глава из повести «Сёстры».

Предыдущие главы в альманахах «До и после», №8 и №9)

Если бы не Светлана, возможно, никогда не переболеть Марьяне этой болезнью – разочарованием. Эта болезнь посерьёзнее многих других, способная надолго, если не навсегда, разрушить человека. И вовсе

не потому, что Светлана с самого детства была неискренна с ней, а её сестринская любовь и забота – показной и часто лживой. А потому, что любимый человек предал их любовь, оказался слабым, а сердце его – раздвоенным, мечущимся между нею и сестрой. Вообще, для тех, кто *чувствует*, жизнь – это трагедия. Для тех, кто *думает*, жизнь – комедия. Произошедшее в Марьяниной жизни, было трагикомедией. Так ей казалось. Где достать мудрости, чтобы относиться к этому, как к комедии? Как приучить себя к мысли, что её чувства были заоблачными, а *его* – вымышленными? Только двое знают всегда об истинной причине разрыва, остальное – бутафория. Неужели в том, что не смогла она удержать любимого, есть и её вина, а его окончательный крен в сторону сестры решил всё? И гордость её, и высокая самооценка тут ни при чём. Она не стала бороться за свою любовь, а просто отошла в сторону, таким образом дав сестре *зелёный свет*. И скажите на милость, как теперь с *этим* жить? Встречаться по утрам на кухне с *ним*, разгуливающим по квартире в одних трусах? И видеть, как *он*, наполнив чашки горячим кофе, уносит его в бывшую их со Светланой комнату. Постоянно слышать *их* смех, возможно, относящийся к ней, оказавшейся выселенной в общую гостиную. Всё время прислушиваться, пытаюсь через две стенки, отделяющие её от *них*, уловить любовную возню и в своём воображении дорисовывать всё остальное. Застигнуть себя на страшной мысли, что ей хочется причинить *этим двоим* боль и тут же, испугавшись, гнать её от себя прочь... Невозможно стало дышать полной грудью – *это* не отпускало её сердце. Она всё время тихонько нащёптывала себе: «Это пройдёт, пройдёт. Я подожду». Она хотела, чтобы высказанное вслух отложилось в подсознании, и оно стало бы управлять сознанием. Но... Не могла изжить в себе *это*. Ничто не проходило. Увы...

Ещё совсем недавно полученная Михаил Осиповичем большая трёхкомнатная квартира на *Левобережной* казалась огромной – убогому быту коммуналки пришёл конец. Теперь же в ней негде было спрятаться ни от семейной жизни сестры, ни от сочувственно вздыхающих родителей. «Ходил... Ходил парень к Марьяне. А женился на Свете» – переживали они. Если бы всё было так просто, так прозрачно. Родительский дом, вновь превратившийся в коммуналку, казалось отторгал её.

В жизни может случиться всякое, даже то, что случиться порой не может. Не должно. Есть Времена удивительно сжатые по времени, но безмерные по ощущениям. Сколько же она пережила, узнала в этот небольшой, всего в год, период. Сумасшедшую любовь и необъяснимую горечь. Сама. Сама. Всё сама. Своими руками отдала любовь, не стала никому ничего доказывать. И теперь она словно крадётсЯ во тьме, и никто ей ничего не должен. «Забавно. Забавно» – вдруг рассмеялась Марьяна и столь же внезапно остановилась, как будто смех застрял у неё в горле. Как же происходит падение человеческого качества? И

было ли оно вообще? Сколько нибудь разумных доводов для объяснения и оправдания случившегося у неё не было.

Ах, как начиналась *та* осень. Та абстрактная, кленово-жёлтая пора, одевшая в янтарь деревья. Тот листопад, разбросавший золото листьев по тротуарам. У памяти хороший вкус. Она старается сохранить лучшее из того, что было в прошлом. Без конца тревожа и напрягая её, Марьяна вновь вспоминала, как прошлой осенью впервые встретила *его* поздно вечером в метро, возвращаясь после лекций домой. С ней редко заговаривали в общественном транспорте, несмотря на то, что была она хорошенькой, а её фигура вызывала зависть у женщин и фантазии у мужчин. Видимо, было в её облике нечто, не позволявшее подойти к ней просто так. Вероятно, тот раз был особенным. У *него* были длинные выющиеся волосы и, хотя ей не очень нравилось это мужчинах, но ему это шло, да и лежали они красиво. *Его* глубоко посаженные глаза смотрели на неё с восхищением, и её сердце, застучавшее тогда быстро-быстро, выскакивало из груди и было способно бежать впереди неё. В тот день, ещё с самого утра, она ощущала какой-то необъяснимый подъём, словно чувствуя – должно произойти что-то очень хорошее. И потому ничуть не удивилась этой встрече. После этого вечера не было дня, чтобы они не созванивались или не виделись. Сначала, встречи их были довольно редкими, оба учились и работали. Марьяна – на третьем курсе Политехнического, днём работая чертёжницей в проектном институте. Леонид, так звали её нового знакомого, учился в Пищевом и работал помощником мастера цеха на заводе. С каждым днём увеличивалось их взаимное притяжение. Встречи становились более частыми. Встречая Марьяну после лекций, он провожал её домой. Долго простаивая холодными зимними вечерами у тёплой батареи в её подъезде, они говорили обо всём-обо всём, согревая своим дыханием озябшие пальцы друг друга и боясь решиться на нечто большее. С каждым днём они всё больше как-то синхронно совпадали в жестах, в тембре и тоне какой-то единой интонации, в движении неуловимых биотоков. Всё больше обнаруживалось родство их душ, духовная близость приобретала такую силу, что казалось – другая и не нужна. Они стали проводить вместе всё свободное время. Если позволяла погода – на природе. Он научил её ходить на лыжах, кататься на коньках. Они не пропускали ни одной премьеры в кино или в театре. Им казалось, что они знают друг друга всю жизнь. Спустя полгода после знакомства Леонид познакомил Марьяну со своей мамой, когда впервые пригласил её в гости. Отца своего он почти не помнил, тот оставил семью, когда сыну было около трёх лет, и с тех пор Леонид его никогда не видел. Лёнина мама была молодой и красивой женщиной. И они с Марьяной как-то сразу понравились друг другу. При общении с ней совсем не ощущался возрастной барьер, а

сыну своему она была не только матерью, но и другом, с которым он всем делился и мнение которого было для него очень важно. Она накормила их вкусным обедом, при этом они много говорили, в основном, о кино, бурно обсуждая понравившийся обоим фильм. Перед уходом на ночное дежурство (Лёнина мама работала медсестрой в одной из клиник города), она вызвала сына на кухню и сказала:

– Чудная девочка, не упусти её.

– Ни за что, мама. Это серьёзно.

Оставшись впервые вот так, совсем-совсем наедине, они оба ощутили неловкость и смятаение, закончившееся бурными объятиями. Лёня, до боли сжимая её руки, что-то хрипло зашептал ей.

Его дикая страсть испугала её. Оттолкнула.

– Тебе нужна женщина? – округлились глаза у Марьяны. Она впервые видела его таким и с силой вырвала руку.

– А тебе? Разве тебе *это* не нужно?

Раскрасневшаяся, с растрёпанными волосами, Марьяна растерянно смотрела на него.

– Я – мужчина. Понимаешь? – в его взгляде было что-то, чего прежде она не замечала.

– Лёнечка, если ты... Неужели тебе так сильно *это* необходимо... Ты знаешь, я где-то читала, что предвкушение любви лучше самой любви, ну в смысле вот *этого*, – она обняла его за плечи. – Я очень тебя люблю. Но... но не готова... Пока... Вот так как-то... – она брезгливо повела плечом. – Я боюсь.

Уже расслабившись и справившись собой, он с сожалением смотрел на неё. Сквозь неё. Молчал.

– Скажи что-нибудь. Хоть слово. Не молчи, – попросила она.

– Что ты хочешь услышать?

– Что ты любишь меня. Скажи, что любишь.

– Я лю-б-лю. Те-бя.

– Нет. Ну правда. Не издевайся.

– Девочка моя, как же ты безнадёжно наивна. Ты – словно икона, к которой нельзя прикоснуться. Страсть и есть любовь. Это – всё равно, как принять лекарство. Выпил – и оно уже в твоей крови. Страсть совсем не неизменна. Кто внушил тебе это? Ты же – современная девушка.

– Кто? Я? Нет, я совсем несовременна. Наверное я – тургеневская женщина и плохо вписываюсь в современные рамки.

– И это означает, что только брак способен тебя раскрепостить?

– Да, возможно...

Он расмеялся:

– А выглядишь современно.

– Я маскируюсь, понимаешь? На самом деле, я – старорежимная девочка.

– Так в чём же дело? Давай распишемся.

Повисла пауза, они внимательно смотрели друг на друга, словно виделись впервые.

– Что ты молчишь? Ответь.

– Я... Я думала, что... Что об этом как-то иначе говорят...

– Давай иначе. Я приду к твоим и скажу, что мы женимся. Идёт?

– Не знаю. Может быть. Посмотрим...

Долго утаивая Леонида от своих домашних, Марьяна рассказала о нём с матери.

– Работает на заводе? – поднялись брови у Шарлотты Максовны.
– Ты уверена? Это то, что тебе нужно?

– Мама, ну как ты можешь? – обиделась Марьяна. – Ведь ты совсем его не знаешь.

– А ты пригласи его в дом. Ты скрываешь его от нас? Почему не познакомишь, если это так важно для тебя? Ты давно встречаешься, а мы ничего о нём не знаем. Ведь так же нельзя, право...

И Марьяна решила, что настало время пригласить Леонида к ним, особенно после реплики сестры:

– Долго ещё будешь его прятать? Я вас видела. Хорошенький. Передай ему, что я приглашаю его на день рождения – не бойся, не отобью. Шучу, шучу – он совсем не в моём вкусе, ты же знаешь, व्यюишиеся волосы и всё такое... – рассмеялась Светлана.

Ко дню рождения Марьяна готовилась, как никогда прежде, всё-таки – двадцатилетие. Убрала всю квартиру, ведь на Свету рассчитывать не приходилось. Помогала маме в подготовке праздничного стола. И что-то срочно довязывала. Светлана с насмешкой вышучивала её:

– Ты знаешь, Мэри! – в последнее время она обращалась к ней именно так. – Запомни. Женщины делятся на две категории: тех, которые – вяжут и тех, кто – не вяжет. Любят, обычно, тех, которые не вяжут – так сложилось. Так что, учти это, детка.

Марьяна знала, что сестре для ощущения собственного превосходства непременно нужно кому-либо подпортить настроение. И она, Марьяна – самый удобный объект. Она не стала спорить, тем более, что Света прекрасно знала: сестре нравится носить всё, сделанное собственными руками. Кроме того, она также знала, что Марьяна, в отличие от неё самой, с тех пор, как начала работать, никогда не брала денег у родителей. Ведь мама уже была на пенсии, а папа работал на полставки. Но это совсем не мешает ей, Свете, постоянно клянчить у родителей деньги на очередную покупку. И когда мама, удивляясь, спрашивала у Светы: «Но ты же недавно купила новую кофточку?», Света возмущалась, парируя: «Ну и что? Разве ты не видишь, что она не идёт к

этой юбке?» или «Мамочка, ты меня удивляешь. Меня уже все видели в этом. Не могу же я снова в этом появиться». «Откуда в тебе эти барские замашки?» – возмущалась Шарлотта Максовна. «От тебя. От кого же ещё. Ты забыла, из какой семьи производишь?» И Шарлотта Максовна, поджав губы, снова выдавала требуемую Светлане сумму на очередную кофточку или платье. И это при том, что полгода назад Света оставила работу, она, видите ли, не создана для работы лаборанткой, у неё руки трескаются. Институт тоже бросила, завалив две сессии подряд. И какую *платформу* выдвигает: «Что? Корпеть над конспектами? Чтобы вся молодость прошла? Ещё чего. Пять лет отсиживать себе *одно* место ради высшего образования, чтобы потом получать за это *две* копейки? Нет уж, увольте. Я жить хочу. И сейчас. А не когда-нибудь потом. А не лучше ли удачно выйти замуж? И брак по расчёту может быть счастливым, если расчёт правильный». Возражения Шарлотты Максовны, что высшее образование – это фундамент будущей жизни, что это престижно, в конце концов, что в их семье все всегда были адвокатами, врачами и прочее, Света обрывала со смехом: «Не смейся меня. Твои взгляды безнадежно устарели». Михаил Осипович, души не чаявший в дочери, обычно, говорил: «Лётик, а может, девочка и впрямь права?»

Наступил долгожданный день рождения, внесший еле уловимое ощущение тревоги в душу Марьяны. Когда все уже были в сборе – близкие друзья сестёр, родственники, и отсутствовал только Леонид, Шарлотта Максовна заметила:

– Марьяша, но где же твой друг? Однако, он не пунктуален. Это не деликатно как-то... Всё-таки он впервые приглашён в наш дом...

Марьяну, не успевшую ответить, опередила Светлана:

– Заводской мальчик, что особенного? Перевоспитаем. Немного обтесать и всё будет о'к.

Марьяна, украдкой глядя на часы, выбегала на лестничную площадку: «Ну где же он?»

Опередив замешкавшуюся на кухне сестру, Светлана встретила у входа Леонида, опоздавшего почти на час. Слегка коснувшись её губ и вручив ей цветы и подарок, он шепнул:

– Поздравляю, дорогая! Ты сегодня восхитительна. Прости, что опоздал. Но причина уважительная, я потом тебе объясню.

В этот самый момент из кухни вышла Марьяна. И улыбка испарилась с его лица. Он недоумённо переводил взгляд с одной сестры на другую:

– Я знал, что вы – близнецы. Но, чтобы *та-кое* сходство! Удивительно.

Подойдя к Марьяне и представившись, он поцеловал ей руку и утвердительно-вопросительно сказал:

– Вы – Светлана. Я угадал?

– Лёничка, неужели ты не узнал меня? – растерялась Марьяна.

Растерявшись более неё и покраснев от оплошности, Леонид медлил с ответом. На помощь пришла Света, сведя всё к шутке:

– Ну, поцелуйтесь! Он же не виноват, что мы так похожи, сестрёнка. А подарок и цветы мы разделим. Не возражаешь, Мэри? Всё-всё. Раздевайтесь, и к столу. За Вами – штрафной тост, – скомандовала она.

Тостов, музыки и смеха в этот вечер было много. Гости танцевали, пели, играли в *шарады*. Заводилой, впрочем, как всегда, была Света. На фоне её блистательного умения себя преподносить, Марьяна выглядела каким-то второстепенным персонажем. И ей на мигновение, но всё-же стало неловко от собственного наряда, самоделки, как говорила Света. Он показался ей нелепым по сравнению с настоящей *фирмой*, в которую была одета сестра. Марьяна интуитивно почувствовала, что сегодня сестра *выступает* только ради одного человека: Лёни. Было стыдно от этих мыслей, как будто она столкнулась в гостях со своим собственным бывшим мужем.

Когда гости разошлись, Света сказала ей:

– Ты знаешь, а я рада за тебя. Но не слишком обольщайся – мужчины очень переменчивы. И не думай, что ты – единственная. Мужчины сотканы из противоречий. Постоянно навязываемая забота раздражает их. Женщина должна держать мужчину в непрерывном напряжении, подпускать к себе, затем отталкивать... И так всегда.

– Ты судишь по собственному опыту? – спросила Марьяна. – Он так велик у тебя?

– Считаю, что так и есть. Впрочем, поступай, как хочешь. Осведомлён, значит – предупреждён.

– Я подумаю. На досуге. Спасибо, что предостерегла, с иронией сказала Марьяна. Если бы она только знала тогда...

Леонид стал бывать у них часто. Вначале и родители, и Света вели себя по отношению к нему сдержанно. Постепенно эта сдержанность сошла на нет и уступила место более близкому узнаванию друг друга. Михаил Осипович, вызывая Леонида на откровенные разговоры, интересовался его жизненными перспективами и находил их совсем неплохими. Шарлотту Максовну, в основном, интересовала его родословная.

– Мальчик из простой семьи. Ну, совсем-совсем из простой. Вовсе не интеллигентен... И интеллект... Ну, не знаю, не знаю, – сокрушалась она.

Светлану же, в отличие от матери, его интеллект не интересовал совсем. И поскольку с детства ей было интересно всё, подсмотренное с *чёрного хода*, она подглядывала за влюблёнными. Потом перестала де-

ликатничать и оставлять их наедине. Она врывалась в комнату, где они сидели, прижавшись друг к другу. И тогда Марьяна, быстро отодвинувшись, вскакивала и бежала на кухню готовить чай. Светлана, соорудив гримаску и мило сморщив носик, распахивала окно и говорила, как бы только для себя, давая понять, что в комнате пахнет потом:

– Однако, *амбрэ*, – и, словно призывая его в сообщники, добавляла, – проветрим, ладно?

– А ты – та ещё штучка! Тебе не откажешь в умении подбирать слова. Подумать только, как такие мысли рождаются в такой головке? – хохотал Леонид.

– Я рада, что тебе нравится мой эвфемизм, – смеялась Света.

– Ты умеешь радоваться? Чувствовать?

– О, мои эмоции – очень хаотичны. Но, когда я хочу чувствовать, то могу, будь уверен... Ты даже себе не представляешь, как.

Когда Марьяна возвращалась, неся на подносе дымящиеся чашки, она заставляла их за оживлённой беседой, не замечающих, что у неё расстроенное лицо и покрасневшие глаза. Она старалась не обращать внимание на взгляды, которыми они обменивались, их шёпот и смех. Однажды она услышала, как Света сказала ему: «Ты меня плохо знаешь. Я – настоящая стерва». И его ответ: «Мне нравятся стервы. Очень». Всё чаще она чувствовала себя третьим лишним, когда случалось бывать втроём, и она просто присутствовала при их беседе.

Время, нетерпеливо стремящееся вперёд, день ото дня высвечивало неуловимо меняющуюся реальность.

Словно песок сквозь пальцы, уходило ощущение близости с любимым. В их отношения закрадывалось что-то, чего она не понимала, но интуитивно чувствовала неладное. Он стал реже встречать её после занятий в институте, ссылаясь на занятость. Отменял заранее условленные встречи. Стал реже бывать у них, а потом и совсем перестал. Как-то из окна автобуса Марьяна увидела его со Светой, идущих по улице, взявшись за руки. Это ошеломило её, но она никому ничего не сказала. Что-то, казавшееся вечным, незыблемым, уходило из её жизни, становилось вчерашним. Ей было страшно, каждую ночь снился один и тот же сон – сон зла, состоявший из злых духов. Марьяна всячески скрывала свою боль от родителей, донимавших вопросами: «Куда пропал Леонид?» Она скрывала боль и от сестры, которая, впрочем, в этот период не *доставала* её, как обычно, и даже, где-то, щадила. Потом был телефонный звонок к ней на работу и она уж *знала*, что это – его последний звонок: «Приезжай. Мне нужно поговорить с тобой. Это важно» – вот всё, что он сказал ей. И она помчалась к нему.

Встретив её и, не дав ей опомниться, сказал:

– Марьяш, дорогой мой человек! Ты не заслуживаешь ни измены,

ни лжи. Так уж получилось. Прости.

– Ты устал от меня? От моей любви? Что получилось-то? – уже зная, что за этим последует, спросила она.

– Ты – сильная. Ты справишься.

– Я? Что ты? Я – слабая. Настолько, что мне ничего не остаётся, как быть сильной. Так что же получилось?

– Мы – расстанемся. Так надо, понимаешь? – он отвёл глаза, избегая её взгляда.

В комнате стало странно тихо. Её волосы рассыпались по лицу и на какое-то мгновение она ослепла. Она почувствовала пустоту в желудке: «Ну вот, теперь всё встало на свои места».

– Ты так решил? Наверное? Совсем-совсем? А ведь мы уже расстались. Разве ты не заметил? Это из-за Светы? Да? Молчи! Я знаю, что ты знаешь, что я – знаю.

Прилагая немалые усилия, она пыталась сохранить спокойствие, хотя бы на лице, что плохо ей удавалось. Пряча предательские слёзы, она хотела достойно выйти из этого тупика и поскорее убежать отсюда.

– Ну что же, любимый! Ведь всё к этому шло, уже давно. Видно, моё время прошло, и я не стану навязывать тебе свою любовь. ...И я хочу, чтобы ты был счастлив. А мне... Мне – всё равно. Понимаешь, мне всё равно, в каком качестве быть рядом с тобой. Я... Я не стану вам мешать. Никогда...

В эти минуты он почти ненавидел её за это великодушие. Пусть бы лучше она кричала, дралась, но это... А она была готова предложить ему себя – ведь они так и не стали близки. Бог знает, что удержало её в тот миг от этой унижительной мольбы, уже готовой было сорваться с уст. «Как же?» – кричала её душа. Ведь она знала его губы, нежно прикасавшиеся к её волосам. Знала его руки, такие близкие от вмятинок до бугорков, обнимавшие её. Знала глаза, которые говорили ей о любви. Знала его сердце, раскрывавшееся ей навстречу, согревавшее своим теплом все эти месяцы и заставлявшее замирать её от счастья. Дорогой и единственный человек. Лучший из всех. Он разбил её жизнь.

Седина на твоих губах.
Показалось – морская соль.
Исчезает смысл в словах.
Обнажается только боль.

Опускается полночь с крыш.
Силуэты – в пустом окне.
Где-то рядом скребётся мышь.
Луна – на ночном полотне.

С нами что-то случилось. Вдруг
Пелена опадает с глаз.
Время мчится. И недосуг
Разглядеть ему что-то в нас.

Вновь бред... Полночный бред.
Слежу за стрелкой часовой.
Излюбленный сюжет:
Стучат шаги по мостовой.

И нитью вьётся даль.
Услышь. Прости. Не обессудь.
Мне бесконечно жаль,
Что ты мою не понял суть.

Неслышными шагами
Подкралась тишина.
Играет снова нами,
На выдумку бедна.

Из всех углов взывает.
Взмывает к потолку.
На полках оседает.
И пляшет на полу.

Играет. Но не знает,
Что стоит мне лишь встать,
Как без следа растает
Её немая стать.

Слова, как шелуха.
Порхают. Отлетают.
И *правда* к ним глуха –
Бесследно исчезает.

Словесный хоровод.
Ложь ни за что в ответе.
И ей наоборот
Глаголят *правду* дети.



ВАЛЕРИЙ МАТЭТСКИЙ

Родился 31.05.1949 года в Красноярске.
График-дизайнер.

В Германии с 1991 года. Публиковался
в альманахе «До и после»

ОСКОЛКАМИ ЭМАЛИ

А.Л.

Нет, не сойду с ума
от шёлковой волны
пшеничных прядей, нет!

И загнанно бродить не буду
сквозь листья вечера,
ища твой терпкий след,
прилипший к мостовой
осколками эмали,
заговорённых глаз.
Не буду!

И только иногда,
быть может, вдруг,
поймав в стеклянной створке
кухонного шкафа
струистый перламутра блик,
спешащий избежать
случайных отношений –
прикосновений взгляда:
ведь в этот миг
в нас смотрит – Будда!
Я буду
вспоминать палатами души,
проветривая витражи сознания

прохладную голубизну признанья
игры миров
межзвёздных отношений –
на кончиках твоих ресниц...и спиц.
стреноженное трепетанье
вдруг возмутит во мне...
ведь может же так быть?
что шёпот светотени –
всего лишь бег в себя,
овеществлённой лени,
привыкшей –
всех с собой мирить
и мерить всех –
на свой аршин
меридианов, тех вершин,
что не дано нам знать и видеть.
но можно чувствовать, предвидеть –
в излучинах движенья восхищенья
от шёлковой волны смущенья
пшеничных прядей?

ЦУНАМИ

Небо
металось, как маятник
В потных
руках гонца.
Мухи
бессилием маялись
В снулых
глазах тунца.

Город
давился спазмами.
Сексом
телилась ночь.
Снайперы
били гласными,
Звёздами
мчались прочь.

Рок
барабанил в бонго,
Шивой
трясло баркас.
Сердце
мятежным гонгом,
Прыгало
в маракас.

МЯТНЫЕ ГУБЫ ЩЕКОТКИ

А.Л

Ты – беспомощна, как школьница.
Я – естественный, как грех,
Ем, стоглазой лавой конницы,
С мятных губ щекотки смех.

День – упал на дно околицы,
Опрокинулся, как жук.
Сердце бьётся в горле горлицы,
Как букет комет и рук.

Не мешай, душа – заслонкою!
Не лоснись истомой, прах!
Ты – прохладною солонкою
В мой горяче-сладкий страх!

ПОЛУ-ЗАПЯТАЯ

От любви осталась только шкура
белого медведя на полу.
Три гвоздики в вазе Бэримура,
тонкий запах пряного Аллу.

Полу-вздохи в алвеолах тюля,
хлам лохматой страсти на когтях,
Полонез полынного июля –
полу-стоном в спёкшихся губах.

И кольцо...Серебряным заклатьем
колесит коллапсовой звездой.
В полумгле полу-прокля-понятье –
полу-знаком, полу-запятой.

27.03.06

КОНТРАСТЫ ОСЕНИ

Подкравшимся тигром
Вдруг осень зажглась.
Багряные титры –
Фланкируют масть.

Пылают пюпитры
Молящих стволов –
Небесными митрами
Бранных богов.

Но скорбные позы
Раздетых кустов –
Как чёрные космы
Рыдающих вдов.

КАПЛИ ЗАРИ

Чайные розы –
Чашей пиал.
Запах амброзии –
Солнечно-ал.

В лепке бутона –
Губ поцелуй
Девственным стоном –
Юных чешуИ.

Страсть ожидания
Зреет внутри –
Исповедальных
Капель зари.

СОН ВЕСНОЮ

Я решил, что ты была...
Ты была, как сон весною.
Зимней странною сосною –
Запорошенно-бела.
Пальцы розово текли,
Где зарница полыхала,
Пряли крыльями шеглы

В ритме взмахов опахала.
Показалось, что фасад
Озарился дымом парка.
Ослепительно и ярко
Тишиной взорвался сад.
Спал рассвет. И долго, глухо,
Платье ухало, как знак.
Скрежетнув пружину уха
Улыбался сонно мак.
Голубой морщинкой глади,
Я петлял в струе реки.
Сквозь неясность боли прядей,
В заводь ягодной щеки.
Виноградной каплей спала
И прислуга, и отец.
Запершись во влаге алой
Трепетал муслин сердец.
В треск побеленные стены,
Сухо щёлкали в шкафы.
И побряхтывали вены,
Зашнурованной софы.
В кабинете – ключ, как ночи
Завороженной игла,
В долготе набухших почек
Бился ласточкой угла.
Я решил, что ты была...
Неизвестно, что искусней
В золочённой раме грусти:
Ртуть иль таинство стекла.

14.04.06.



Одессит. Родился в 1932г. Геолог. В Германии с 1997 года. Первые публикации в 1957 г.

Печатался в альманахах и журналах «До и После», «Третий этаж», «Крещатик».

ПАУЛЬ ВЕБЕР *(глава из повести)*

Кукка сидела на деревянном настиле коровника, облокотившись спиной о ясли. Под одеждой на её теле сушились детские чулочки, не давая согреться. Рядом сидела Шлима. Она смотрела на дочерей и беззвучно плакала.

– Не плачь, дочка. Значит, так угодно Богу, сказала старуха и замолчала.

Она закрыла глаза, пытаясь молиться, но перед глазами всё время возникало лицо немецкого офицера.

– Нет, нет, этого не может быть, – шептали губы.

Она редко вспоминала о тайне, которую хранила в самых дальних уголках памяти. Прошла целая жизнь, что-то не хотелось вспомнить, что-то вылетело из головы, а иногда, казалось, ничего не было и вовсе. Но сегодняшняя встреча извлекла из этих самых уголков события далёкой молодости. Кукке почудилось, что эти мысли обрели голос и стали слышны всем вокруг. Она испуганно осмотрелась. Убедившись, что никто не прислушивается, а дочь задремала, с облегчением вздохнула. Они теперь мало разговаривали – мать и дочь. Кукка старалась не встречаться с ней глазами, боясь увидеть то, о чём постоянно обе думали: «Если бы она тогда, у самых ворот порта, не повернула домой, а за ней и Шлима с детьми, судьба их сложилась бы по-другому». От сознания своей вины старой женщине было совсем худо, но появление на крыльце немецкого майора дало ей надежду.

И она решилась...

Кукка прикрыла глаза. Нежданно воспоминания раздвинули стены коровника и лучи солнца, одесского солнца, тронули натруженные ноги.

поползли по коленям, груди, голове и пробились сквозь сомкнутые ресницы. И уже не першит в горле от едкого запаха навоза. Тёплый ветерок разносит по улицам йодистое дыхание моря, догоняет её у рыбного рынка и колоколом вздымает юбку. А голубоглазый парень в форме немецкого солдата с маленькой родинкой у носа, Герман Вебер, протягивает юной Кукке гвоздику и пытается поцеловать руку. Смущённая, немного напуганная, она быстро прячет руки за спину. Девушкам Молдаванки мужчины не дарили цветов, не целовали рук. И это было в порядке вещей. Но каждая женщина от Старопортофранковской до Жеваховой горы не расставалась с этой мечтой. Мечтала и Мариам, прозванная за красоту Куккой.

Два молодых человека: немецкий солдат и еврейская девушка стояли рядом, напряжённо всматриваясь, друг другу в глаза. Он что-то быстро говорил, запинаясь, снова говорил, а её губы неслышно шептали:

– Это он... это он... это он...

Они были разными, совсем разными: и язык, и образование, и культура. Но это не имело никакого значения, потому что рядом стояли мужчина и женщина, плённые внезапно вспыхнувшей любовью и ожиданием близости.

Руки девушки, помимо воли, потянулись к его руке, держащей цветок. Четыре ладони встретились, переплелись, и казалось, в них ещё ярче запылала гвоздика. Прикосновение рук замкнуло некую цепь, в которой мужчина и женщина стали единым целым, как это случалось тысячи лет до них, и будет случаться до скончания веков. Влюблённые, держась за руки, брели по улицам и им кланялись душистые кружева акаций...

* * *

Имперские амбиции Германии и России росли. Первая Мировая война стояла у ворот Европы. Германское консульство, куда был прикомандирован Герман, резко сократило свой персонал. Его отправляли на родину.

Нервно вышагивая по маленькой комнате, где они встречались, он вдруг, резко согнув колени, грохнулся на пятки и, ударив ладонями по полу, коверкая русские слова, крикнул:

– Я без тебя не могу! Не могу! Не молчи же! Ну не молчи! Герман требовал, просил, умолял стать его женой и уехать с ним в Берлин.

Кукка, уткнувшись в подушку, молча плакала, затем подняла голову:

– Я никогда не оставлю мать и больного отца, ты должен это понять!

Вначале, казалось, разлуку не пережить. Но время, распластанной лентой медленно протекавшее по её жизни, постепенно поглотило образ Германа.

Усилием воли старая женщина остановила колесо времени. Ей не хотелось вспоминать ни беременность, ни рождение дочери в далёком местечке, ни замужество за вдовцом – добрым человеком, давшим Шлиме своё имя. Это было давно, очень давно. Кукка была верующим человеком. Всё, что происходило с ней и её семьёй, считала Божьим промыслом.

Но это было в той, другой жизни. А теперь...?

«Бог послал нам испытания. Он, смотрит и ждёт, что мы будем делать. И я сделаю.

Поговорю с немецким майором. У него одно лицо с Германом. Возможно, он его родственник, может быть даже сын. Пробьюсь к нему. Хуже смерти ничего не будет».

Так думала Кукка, крадучись к воротам коровника.

Часовой, увидев женщину, передёрнул затвор.

– Куды, стара! Куды! Якшо житы надоило, пидождь до ранку.

– Веди меня к офицеру, – спокойно ответила Кукка.

– Ни хера соби, та нашо ты йому здалась!?

– Дело к нему важное.

– Нэ дратуй мэнэ, стара, вэртайся до свох жидэнят.

– Господин полицейский, – прошептала Кукка, – я отблагодарю. Полицай покраснел. Он не знал такого обращения. В селе его называли Петька-сопливый, а в тюрьме – шестёркой. Слово «господин» сладко согревало душу, но страх перед сильным навсегда засел в мозгу. Он мелко дрожал, то ли от холода, то ли от страха, не зная на что решиться.

«Може пристрелиты еи? А як, якись жиды теж шось знають, тоди мэни кинесь», – думал он, продолжая дрожать.

– Да не дрожи ты, не дрожи. Вот тебе благодарность, – и она опустила в его карман серебряное колечко.

– Добрэ, постий за брамою, скоро прийде змина.

За столом, в небольшой комнатухе, сидел офицер в наброшенном на плечи мундире и что-то писал. Перед ним стояло блюдо, полное окурков, и прислонённая к кружке фотография молодой женщины с белокурой девочкой. В дверь постучали:

– Господин майор, з вами хоче побалакаты жидивка з тых, – он махнул рукой в сторону коровников, – каже, дило до вас е.

– Какое дело?

– Каже государське.

– Обыскали?

– А як же!

– Впусти.

Офицер спрятал в стол фотографию. Но Кукка успела разглядеть на ней девочку. Её поразило сходство с внучкой, оставленной в коровнике. Лицо женщины покраснелось, а взгляд стал требовательным. Надежда обрела зримые очертания. А в голове стучало: «Он спасёт... Он спасёт»...

– Какое у тебя может быть дело ко мне, еврейка? – На ломаном русском языке спросил он. Кукка молчала. Офицер удивлённо смотрел на неё.

– Пусть полицай уйдет.

Майор, не обворачиваясь, махнул рукой в сторону двери. Кукка ещё несколько секунд молчала. Потом отчётливо сказала:

– Ваша фамилия Вебер? Он вздрогнул и изумлённо посмотрел на неё. Старая женщина поняла, что попала в цель.

– Кто, кто тебе сказал эту фамилию?

Кукка пошла ва-банк:

– Вашего отца звали Герман Вебер. – Лицо майора покрылось пятнами. – В молодости мы встречались, здесь, в Одессе.

– Врёшь! – закричал он. – Врёшь! – Вскочив на ноги, заходил по комнате. – Врёте мадам, – перейдя на вы, неуверенно повторил он. Кукка глядя ему в глаза, отчётливо и очень медленно сказала:

– Со мной ваша сводная сестра и племянницы. Губы Пауля Вебера побелели, он достал платок из кармана и вытер вспотевший лоб.

– Врёшь! – заорал он. Дверь распахнулась, и в комнату вбежал полицай.

– Вэк! – почему-то по-немецки крикнул Вебер. – Вэк! – повторил он, выталкивая полицаю за дверь.

* * *

Большим усилием Пауль заставил себя успокоиться. Он шагал по комнате, не отрывая глаз от её лица, останавливался в дальнем углу снова, и снова смотрел на Кукку, словно хотел отыскать что-то в чертах лица этой женщины.

И он вспомнил... Он вспомнил рассказы отца о далёкой Малороссии. О городе у тёплого моря, где жили весёлые и остроумные люди. О женщине с библейским именем Мариам, которую он любил. Она была так красива, что её называли Куклой, а на улице Куккой.

Доктор Герман Вебер в свободное время от приема больных учил сына русскому языку и удивлялся его успехам. Он не знал, что Пауль в специальной школе, по приказу командования, изучает русский язык для работы на оккупированных землях. Ещё старый доктор рассказывал Паулю о первой Мировой войне. Он всегда внушал сыну, что честь офицера не позволяет воевать с побеждённым населением – только с армиями.

И ещё он вспомнил... Когда отец узнал, что сын, его гордость и надежда, служит в СС и отвечает за решение еврейского вопроса на юге России, покончил собой, не оставив записки. Эта смерть считалась несчастным случаем. Но Пауль узнал причину смерти. В последнем письме отца было всего несколько слов:

– Я проклинаю тебя!

Немецкий майор остановился так, чтобы в отвесах огня печурки лучше рассмотреть лицо женщины и снова тяжело зашагал по комнате. Он пытался представить её совсем юной, рядом с отцом и понять, чем она пленила его и заставила помнить о себе всю жизнь. Пауль любил отца, и винил себя в его смерти. Поглядывая на женщину, он не хотел себе признаться, что она говорит правду. Впервые за много лет Вебер не знал, что делать.

Кукка смотрела на горящие поленья печурки. Языки пламени изредка с треском вырывались через открытую конфорку. Круговерть пламени и дыма, бушевавшая в печке, ещё больше настораживала её. Страх, который вначале удалось подавить, снова заполнял душу. Он сковывал тело, подбираясь к сердцу. Руки дрожали, по спине текли струйки холодного пота. Кукка с трудом удерживалась от желания вырваться из этой комнаты и бежать туда, в коровник, к дочери и внукам.

Пауль продолжал молча вышагивать по комнате. Молчала и женщина, пытаясь справиться со своими мыслями.

«Я здесь выполняю приказы командования, – думал Вебер, – и если нужно очистить, – он не любил это слово, – освободить Европу от евреев, если это на пользу моей Германии, я буду это делать. Отец был наивным чудаком. Дружил с евреем, доктором Штайном, не понимая, кто наши враги. Не понимая, что арийцы должны властвовать в мире, а остальные быть их рабами».

Вдруг, в голову пришла другая мысль:

«А зачем же их убивать? Да, да, зачем убивать? Зачем убивать рабочую силу? Пауль впервые подумал об этом и, испугавшись, всячески пытался от неё отделаться. Значит так нужно, не мне, офицеру, рассуждать».

Но не рассуждать он уже не мог.

«Зачем убивать? Зачем убивать? Зачем убивать?» – Слышалось ему из тёмных углов комнаты.

Вебер подошёл к старой женщине и вглядываясь в её лицо тихо спросил:

– Как вас зовут?

– Ваш отец называл меня Кукка. Пауль отшатнулся.

– Врёшь! Всё врёшь! Всё это ты выдумала! – кричал он, пытаясь скрыть охвативший его ужас. Перед ним возникла девочка с золотистыми кудряшками, стоящая перед крыльцом и эта женщина, куском

клеёнки, укрывавшая её от дождя. Ещё тогда его поразило сходство дочери с маленькой еврейкой.

«Господи! – Это моя племянница». Пауль почувствовал, как в его мозг вползает червь и начинает ворочаться, переваливаться с боку на бок, сметая представление об офицерском долге, о присяге и верности. Он понимал, что этот червь сомнения не оставит его в покое. Но Пауль Вебер – образцовый офицер, его уважает начальство, и он выполнит любой приказ. – Усилием воли он успокоился и спросил:

– Чего вы хотите и чего боитесь? Все вы будете жить и работать на великую Германию. Вам ничего не угрожает.

Кукка подняла голову и несколько секунд смотрела офицеру в глаза. Он понял, что лукавить с этой женщиной бессмысленно.

– Господин офицер, – спокойно сказала она, – я знаю, что нас ждёт. В голосе её появились металлические нотки. Она сухо сказала:

– Вы должны, вы обязаны спасти свою сестру и её детей.

– Как ты смеешь говорить со мной в таком тоне!? Ты, ты, стоящая в двух шагах от...

Он осёкся и замолчал. В этом крике была растерянность и проклятия обстоятельствам, которые свели его здесь с этой женщиной и загнали в тупик.

– У меня право женщины, которую любил ваш отец, и которому я родила дочь, – выдохнула Кукка.

Лицо Пауля стало белым. Оба молчали. Только дождь шуршал по соломенной крыше, да мышь назойливо скреблась где-то под полом. От этих звуков тишина казалась густой и липкой, как осенняя грязь на дороге, по которой шла колонна.

– Господин офицер, – нарушила молчание Кукка, – грехов за мной много, но я не боюсь смерти. Если Господь призовет меня к себе, на то его воля, и я смирюсь. Но невинные дети...

– Вы считаете всё, что здесь происходит промыслом Божиим? – пришел в себя Вебер.

– Да, господин офицер.

– Значит, наше командование выполняет его волю, – обрадовался Пауль.

– Нет, господин офицер. Господь дает выбор и испытывает нас и вас. Никому не дано знать, кого и где Всевышний призовет к ответу.

Помимо своей воли, майор втянулся в разговор с женщиной, и мысль о том, что за всё придётся «платить» немного пугала его.

«Но перед кем держать ответ», – невольно посмотрев в потолок, – подумал Вебер. – Есть ли там кто-то?»

Вдруг, где-то внутри него зазвучали неразборчивые голоса. Пытаясь избавиться от них, он потряхнул головой, но они не исчезли, а напротив, стали чёткими, и как – будто знакомыми:

«Ты вправе распоряжаться жизнями тысяч людей запертых в коровниках? – спросил голос. Вебер пытался отвлечься и не слышать его, но он всё повторял и повторял этот вопрос. Тут же прорезался другой голос:

«Вправе, вправе, ты солдат и выполняешь приказ. Да, да я солдат, а ответит начальство. Всё, что хорошо для Германии, – с облегчением подумал Пауль», – хорошо для меня.

«Убивать женщин и детей хорошо для Германии? – Насмешливо спросил первый голос, – и так думает образованный офицер. Ну да, евреи же недочеловеки. А как же Христос – еврей, будь он здесь, его бы тоже расстреляли?»

Вебер вздрогнул, ему показалось, что он сходит с ума.

«Не дури, Пауль, успокойся, делай своё дело. Не к лицу арийцу раскисать. Ляг, поспи у тебя завтра много работы», – сказал второй голос.

«Ещё бы, – возник первый, – не каждый ариец способен послать на смерть сестру, племянниц и женщину, которую любил его отец».

«Заткнись, не мешай Германцу выполнять свой долг. Сын не отвечает за грехи отца, слюнявого интеллигента», – напирал второй голос.

«Что же ты наделал, отец, – думал Пауль. – Почему я должен здесь их встретить? Промысел Божий, – вспомнил майор свои слова, – а что если это так?»

«При чём здесь Бог? Разве ты забыл, что это всё выдумали евреи?»

Наш фюрер получает знаки из космоса, отдаёт приказы, а мы их выполняем», – сказал второй голос.

Майору стало холодно. Он надел мундир и застегнул его на все пуговицы.

– Мадам, я не верю ни одному вашему слову. Вы не могли знать моего отца, он не мог полюбить еврейку. Но повторяю, вам ничего не угрожает, вы будете переселены в другое место. Вебер стал красным, раньше он никогда не лгал:

– Полицист, отведите! – открыв дверь крикнул Пауль.

Дверь за Куккой закрылась. Он охватил голову руками и опустился на стул:

«Господи, что мне делать?» Пауль поймал себя на мысли, что раньше никогда не обращался к Богу. Вебер подошёл к окну, протёр запотевшее стекло и долго всматривался в темноту, словно она могла дать ответ на мучившие его вопросы. Но темнота молчала.

«Всё-таки вспомнил бога, – вдруг сказал первый голос и продолжил, – вспомнил своего бога – еврея и просишь совета спасать, или расстреливать евреев? Это уже интересно».

«Опять ты его морочишь, – вмешался другой голос. Чего пристаёшь? Забыл о коммуне – жидовской заразе? Они хотели забрать собственность и поделить поровну. Наши бюргеры испугались. А тут подоспел

мудрый фюрер и напустил народ на евреев. Нужно же дать людям поиграть мускулами, самоутвердиться. Так всегда делают умные политики. Евреи – это боксёрская груша, по которой нужно бить, успокаивая нервы народа».

Представляешь, сколько освободится рабочих мест, квартир. Какие богатства потекут в казну. Мудро, очень мудро. Хочешь жить, плати заводом, отелем, банком и нищим выметайся из страны, к чертям собачим – без евреев проживём. На какие же деньги завоёвывать жизненное пространство? А у кого больших денег нет, пожалуйста в печь, тоже польза – зола для удобрений. Прямая выгода.. Молчишь, то-то же»!

– Замолчите оба! – вдруг заорал Вебер. Он колотил кулаками по подоконнику, и всё повторял, – замолчите, замолчите! Ему казалось, что перед ним два живых собеседника, и он должен принять чью – то сторону, а этого Пауль боялся.

«Какое это, к чёрту, жизненное пространство. Вокруг только кровь и смерть. Скорее оно мёртвое», – сказал первый голос.

«Твои разговоры толкают немецкого офицера на предательство. Германцы всегда воевали и будут воевать, это очищает кровь и закаляет характер. Посмотри на Пауля, он же типичный ариец», – вмешался второй голос.

«И Германией рулит тоже «типичный ариец», с ярко выраженной нордической внешностью, некий Шикльгрубер», – рассмеялся первый голос.

– Я, кажется, просил вас заткнуться! – стукнул по столу Вебер. Он прилёг на койку, укрылся с головой мундиром.

«Что я должен сделать, и что я могу сделать? Зачем я здесь, что я забыл в этой враждебной стране? Почему именно я? Почему мой отец?» – думал Вебер.

Он вскочил с койки и забегал по комнате.

«Что плохого сделали мне евреи? Учителя литературы и латыни, раскрывшие мне мир немецкой поэзии и эллинской культуры? Доктор Штайн, который прибежал ночью к нам в дом и спас мне жизнь, когда я тяжело болел? А здесь, в грязном стойле, пропахшем навозом, моя сестра, её дети и женщина, которую любил отец, ждут своё последнее утро? Нет, нет, я должен что-то сделать». Он ещё быстрее забегал по комнате.

«Думай, Пауль, думай», – зашелестел первый голос.

«Нечего думать, ты ничего им не должен, – включился второй голос, – может быть это просто совпадение. А ты должен выполнять приказы командования и страны, которой присягал. Зачем рисковать не только карьерой, но и головой. Ты уверен, что твой шофёр не доносчик гестапо?»

Нет, Вебер не был уверен.

Так думал Пауль, не сомкнув глаз в эту ночь.

Не заснула и Кукка. Она была довольна разговором. Бог улыбнулся ей. Слова майора «...Вы будете переселены в другое место...» она поняла как намёк на спасение.

Кукка рассказала всё дочери: историю любви к немецкому солдату, и тайну Шлиминоного рождения, и ночной разговор с Вебером.

Между тем, оконные проёмы коровника начали светлеть.



ЛЮБОВЬ РЕЙНГАЧ

Родилась в Запорожье. Жила в Подмосковье. Музыкант. В Германии с 1999 года

Публикации в журналах и альманахах «Ступени», «Библиотека Урала», «До и после», «Родная речь». Книга стихов «Бежало полотно».

* * *

Кто бы дал хоть на время чудесное снадобье, средство,
Чтобы мысли о прошлом, о детстве, могла я унять.
Чтобы сбросить тоску, от которой мне некуда деться.
Я устала аршином печали свои измерять.
Как бы я ни хотела, но знаю, что не отвертеться -
Мне не будет ни двадцать, ни десять. Пора бы понять.
Всё ушло, и мне ближе совсем уж другое соседство...
Но сошедшую пьесу играю опять и опять.

* * *

Притупились все желанья.
Не до зрелищ, не до книг.
Не рябят воспоминанья.
Отступились. Край. Тупик.
Бережат, саднят страданья,
Проржавела сталь брони,
И бессмысленны старанья
Малочисленной родни.
Я, как в зале ожиданья,
Коротаю жизни миг.
Непосильное задание:
Жить, беря пример с других.

* * *

Хоть надломись
Хоть надорвись
Не отступись
Камнем упрись
Только не гнись
Планку завьись
Шагом иль «в рысь»
Рвьись, душа, ввьись!

* * *

Вот счастья миг, когда как в лихорадке
Вдруг набегают на строку строка
И льётся стих мучительно и сладко,
Как исповедь томящего греха.

* * *

Желанье. Искус в нём большой,
Не знающий предела.
Не разминуться бы с душой,
Соприкоснувшись с телом.
Из двух клубочков соткана,
Из двух моточков связана,
С разбросанными нотками
То грустными, то ясными,
То звонкими, как майский град,
То быстрыми, как Вытегра
Была. Теперь тоска – сестра,
А ясность время вытерло.

* * *

Иду ли я уставшая после работы
Или гуляю, когда выпадают минуты свободы
Рядом, впереди, позади что-то...
«Эй, прохожий! Остановись! Кто ты?»
Мне кого-то напоминает твоя походка.
Шаги, знакомые очертания,
Фигуры, вздохи, слова...Откуда?
Я собираю нектар воспоминаний.
Я тону в них, как пчела в ложке мёда...
Пройдут ещё годы, годы...
Опустеют улы, высохнут соты...
И уйдут воспоминания в царство мёртвых...

На фразу не прельщусь:
«Спаси себя сама»
При половодье чувств
Напрасен труд ума.

В театр, в кино? Нет, не хожу.
Мне высидеть – мученье.
Я «чувств своих не пробужу»:
Скучны нравоученья.
Что скажет «свет» – не дорожу:
Я вышла из течения.
Мне быть важнее, так скажу:
Не лучшей, а ничейной.

Движение и жизнь – едины.
В движении – всё преодолеть.
Движение лап – из крынки длинной
Лягушка выбралась на твердь.
Это – с лица. А если в спину,
В тыл попытаться подсмотреть?
Чем чаще взмахи в паутине,
Тем и неотвратимей смерть.

Плахы – для служивых
Для борцов-рожон
Войны – для наживы
Вой – для вдов, для жён
Вето – для пытливых
Гетто – для племён
Почести – для лживых
Страхи – для времён

Есть, спать, совокупляться, удовлетворять физиологические потребности.
Работать, как вол, копить деньги, строить мол, защищая себя от бедности.
Развлекаться, напиваясь на культовых сборищах до мертвенной бледности.

Задышаться от приливов гнева гораздо чаще,
чем от переполняющей нежности.
Не преступать законы, соблюдать каноны с неизменной
прилежностью.
Проплыть по ручейку, так и не узнав о безбрежности жизни,
к окончательной неизбежности.

* * *

Я – так, дичок. Я не из сада.
Лишь ветвь касается ограды.
И, хоть вы, верно, мне не рады,
Прошу: выкапывать не надо.

* * *

«Немыслимо! – писать стихи
Не зная темы иль предмета!»
Так утверждают знатоки,
Постигнув правила и метод.
Иду сим мненьям вопреки:
Стихи – не студия балета.
Они приходят из стихий
Между борщом и винегретом.

* * *

Послушайте внимательно,
Вы – нормо-наблюдатели
И вы – законодатели
Для паствы, для овец.
Вам не унять, приятели,
Поэтов и мечтателей –
Счастливых обладателей
Надорванных сердец!

* * *

Свой первый рисунок
Рукою несмелой
Рисует ребёнок
На листике белом.
«Вот – дом, вот – труба,
Вот – дорожка, вот – кошка» -
Рисует в тетради
С усердием крошка...

Наивен рисунок.
Ребёночек-крошка
Не знает, что счастье
Продлится немножко.
Что мутными станут
От грязи окошки.
Труба распадётся,
Дом рухнет. На кошку.
А крошку в тюрьму
Приведёт та дорожка.
Осталось немножко...
Рисуй, моя крошка.

* * *

Всё в этом мире перевито.
Представьте-ка на миг, друзья:
Машины едут без руля,
Свеча горит без фитиля,
Пустуют нары без воря,
Есть Айболит, но нет зверья,
Миклухо, но без дикаря,
Колокола без звонаря,
Есть свита, но без короля,
Евреи – без антисемитов.



Родилась в Твери. С детства жила в Москве. Инженер.

В Германии с 1995. Публикации в альманахах «Берега», «Третий этаж», «До и после». Книги: «Ферштейн зи», «Девочки», «Рассказы о прошлом».

ПОДРУГИ

Люся Доброхотова с первого класса была моим другом и божеством. Это она взяла меня в подруги. Непонятно почему, девочка из относительно богатой семьи взяла меня в подруги.

Отец мой – враг народа, в тюрьме, семья моя – бедная, даже туфли не могли мне купить, в школу ходила в тапочках.

В начале тридцатых дети репрессированных умирали не только от голода, кое-какую еду можно было достать, умирали от презрения сверстников, от слёз и горя семьи. В то время от многого меня спасала Люська, верный человек.

Семья Люськи была благополучной, мать работала в ломбарде оценщицей. Мы с Люськой бывали у неё на работе. Длинная очередь голодных, измученных женщин. В руках тряпье. Неужели за него можно получить деньги? Люськина мама всё могла: и ковёр купила, и дом в Малаховке, и каракулевые шубки Люське и себе. Но была она безмерно жадной. Даже еду собственным детям жалела. Люська с братом отодвигали буфет и, через отверстие в задней стенке, удочкой добывали пищу.

Начало нашей дружбе положила её каракулевая шубка. Мальчишки содрали её и стали кататься на ней с горы. К ним присоединилась и Люська. Шубка мгновенно разорвалась в клочья. Эти клочья отнесли в подвал для котят кошки Таганки. Кошка была моей любимицей. Люська это оценила и совершила героический поступок – взяла в подруги дочь репрессированного.

Училась я хорошо, не успевала лишь по физкультуре из-за отсутствия физкультурной формы. Люська совсем не училась, всё у меня

списывала. Об учёбе говорила: «Глупее ничего не придумаешь!» Меня она жалела. Принося в школу бутерброд с колбасой, разрешала кусок откусить. Так бывает, когда «дружба навек». В классе все так считали. Школьная Люськина жизнь проходила под моим контролем. Если задание было в двух вариантах, я сначала решала Люськин. Когда Люська отвечала у доски, я отчаянно подсказывала ей.

Мужскую дружбу время укрепляет, на женскую – действует разрушающе. К седьмому классу стала разрушаться и наша с Люськой дружба. И вовсе не из-за контрольной по алгебре, как думали все. На это мы не мелочились бы, уже понимая, что бывают дела и поважнее. В наш класс Игорь пришёл в середине года. Скромный, задумчивый мальчик, он очень быстро овладел ситуацией: старшеклассницы на него заглядывались, мальчишки подчинялись безоговорочно, при конфликтах спрашивали: «Игорь, как ты считаешь?»

Он тоже был сыном репрессированного, ходил в рваных ботинках, но это его не смущало. Жестоким детский коллектив почему-то его не дразнил и не унижал. Естественно, мы с Люськой сразу в него влюбились. Мгновенно, на глазах, Люська изменилась: жёсткие вихры превратились в локоны, губки припухли, шейка вытянулась, даже походка изменилась. Люська стала красавицей. Бабушка, чуткая к моим настроениям, купила мне на рынке юбку и туфельки. Лучше бы она этого не делала. В стареньком наряде, рядом с Люськой, я выглядела ещё беднее. Внешне наша дружба с Люськой, вроде бы, не изменилась, но акции мои падали. Потом началась моя дружба с Игорем. Почему – оставалось загадкой. Возможно, комплекс ребёнка, у которого родители были врагами народа, жил в нём и я была товарищем по несчастью. Мы оба оказались по гороскопу львами: родились в августе. Я стала подсаживаться на парту к Игорю. Люська сильно обиделась. Она даже к другим девочкам стала относиться как-то настороженно. Для 14 лет – нормально – постепенно теряется вера в людей. Это должно было как-то проявиться.

В нашей семье была реликвия – альбом Ренуара. Сын бабушки – Абраша, купил его в Варшаве, ещё в мирное время. Как бабушке во время обысков удалось его сохранить, непонятно. Я решила показать альбом в школе. Похвастаться, как Люська шубкой. Перед уроками альбом рассматривали, всем нравились французские красавицы. Только Люська сказала: «Подумаешь, переводные картинки!»

Первым был урок физкультуры. Ребята переоделись в классе, я заперла дверь и забрала ключ. Когда мы вернулись, альбома не было. Это было ужасно: бабушка не разрешала мне выносить альбом, хотела чтобы девочки пришли к нам. Я не послушалась. Искать альбом не стала. Понимала, что прощения мне не будет, ведь я предала самого дорогого

человека – бабушку. Срочно хотелось умереть. Но альбом бысто нашёл-ся. Он лежал в Люськиной парте. Я понимала, что он ей не нужен, ею владело желание отомстить мне. Я ушла с уроков. Вечером поднялась температура. Думали – грипп. Но это была более серьёзная болезнь – разочарование.

Через два дня Люська сама пришла к нам. Принесла половину пирога с капустой. Я понимала, чего стоило Люське утащить его из дому. Я простила её...

Немного о Львах и Львицах по гороскопу. Львицы сильно отличаются от Львов. Львы – сплошь пижоны и бездельники, Львицы – заботливы, трудолюбивы и бескорыстны. На их плечах лежат заботы о детях и муже. Почти всё такое я делала для Игоря. Этим можно завоевать львов, но удержать их невозможно. Я, глупышка, пыталась. Игорь скучал со мной. Нас с ним объединяла общая любовь к птицам. Мы встречались перед уроками и медленно шли к нашему любимому месту в городе – к Подвескам. Подвески – означает под вязами. Они росли там, чуть ли не с основания города – эдакий птичий уголок.

На вязах гнездились вороны. В школе нам выдавали дополнительное питание: кусочек хлеба с «песочком». Мы съедали один кусочек на двоих, второй – отдавали воронам.

В тот день мы встретились рано. Пригревало солнце. Дошли до Подвесок, покормили ворон, и я уснула на лавочке, уткнувшись в плечо Игоря. Игорь не будил меня, жалел наверное. Это было удивительно, потому что к тому времени наши отношения забуксовали. Для класса было незаметно, но я это чувствовала. Время неумолимо приближало нас к «переходному» возрасту, к недовольству всеми и собой, друзьями, по нашему окружению. Львицы не умнее Львов, они мудрее их. Я спала на плече любимого и даже плакала во сне. Возможно, чувствовала, что всё это в последний раз. Игорь разбудил меня – мы опаздывали в школу. Из РОНО прислали годовую контрольную. Мы сели на переднюю парту, быстро решили контрольную и попросили разрешения уйти, на Люську я даже не взглянула. Контрольные обычно собирала я и относила в учительскую. В тот раз это сделала Люська. Три дня всё было спокойно, на четвёртый позвонил методист из РОНО и сказал, что в классе две двойки. Одна из них у меня. Никто не поверил, стали возмущаться ошибками РОНО, но там подтвердили – всё правильно, и изменить ничего нельзя. Собрались после уроков и, как обычно, тайное стало явным. Кто-то слышал, как Люська просила на перемене ластик, кто-то видел, как Люська в закутке что-то писала. Стало ясно – Люська на моей работе написала свою фамилию, а на своей, неоконченной – мою. Все всполошились. Решили собрать собрание. Для себя я сделала вывод: не думать ни о чём, просто нет у меня больше Люськи.

Но бабушка думала иначе: «Добрых воспоминаний у тебя не останется – только обида. Ты тоже виновата, ты согрешила, забыла Люськины заботы, как она для тебя хлеб воровала, как тебе валенки отдавала. Прости её. Простишь – Бог тебя сохранит». В шестнадцать лет такое понять трудно. Можно ли за зло платить добром? Где границы прощения? Тогда я поняла – прощению нет и не может быть границ. И простила.

На следующий день было воскресенье, мы с классом договорились встретиться в Химках на пляже и всем помириться. Не встретились – на завтра была война.

АЛЬБЕРТ ЛЕИН

Родился в 1939 году в Смоленске.
Инженер. В Германии с 1982 года.

Публикации в альманахах «Всегда в строю», «Заря Яны», «Литва литературная», «Время и мы». Книги стихов: «Листопад», «Письма из-за границы», «Серебряный рассвет», «Сонеты».



* * *

Метели опали
Страстями мгновений,
Берёзовость дали
В снегу по колено.

Февральность дороги
Покою болеет,
Медведи тревоги
В берлогах спят белых.

Опали метели-
Ветров пересуды,
Знакомые ели
В подвесках сосуллек.

* * *

Зима бесснежием инфарктится-
Декабрь – в мелочных дождях,
Как будто зимний ангел в карты
Игрою чёрта ублажал.

И день уныло моросится,
По улицам – тумана моль,
И даже ветер не резвится
С плохой рекламой эскимо.

Прохожий горбится под зонтиком,
Как на траве поганка-гриб...
А где-то солнечные ломтики
В стаканах моря у зари.

* * *

Крылатые тени
Прохладою глядят,
Усталое тело –
Задумчивость сада.

Уже небосклонность
В развёзданной соли,
В рюкзак горизонта
Упряталось солнце.

Парчёвою тайной
Проклянулся месяц.
Пустые стаканы...
Мы рядом – не вместе.

Как чувства в кавычках
Привычного быта,
Мы тоже – обычность,
Мы – скуки обитель.

Крылатые тени
Плывут в небосклонность...
Усталое тело
В ожогах бессонниц.

* * *

Уже дыхание зимы
Повисло инеем на ветвях
И раздражает небо ветер,
Туманов путая дымы.

И первый снег глотает дождь,
И ворон, будто в новом фраке,
Садов последний гаснет факел,
Перебирая листьев дрожь.

Какая нам грозит зима?
Что за сюрпризами мороза?

А время осень всю увозит
В воспоминаний закрома.

* * *

Неуютный, несчастливый
Город в бедах — человек,
Видно ангелы забыли
На декабрь набросить снег.

Переулочность брусчатки
Сажит прелая листва,
Как изношенность перчаток,
Брошенная на асфальт.

Не спешат автомобили
Как с одышкой старики...
Видно, ангелы забыли
Развязать снегов мешки.

Без метелей круговерти
И дома, как не дома,
Даже взрослые, как дети
Ждут, когда придёт зима.

Дня подкова отзвенела,
Незаметно вечер вполз,
И теплом луны согрелась
Земляника спелых звёзд.

И стоят дома уныло
Наяву или во сне...
Видно, ангелы забыли
На декабрь накинуть снег.

* * *

Памяти Валерия Агафонова

Ты щедрым был, как листопад,
Когда душа кривить не может,
Когда листвы костры горят,
Весны прошедшей дни итожа.

Когда не смеют отказать
Простой обыденности просьбы...
Ночь темноты развесив гроздь,
Луною жжёт на небесах.

Когда-то слышанный романс,
Как-будто незнакомый снова,
Чужие старые любви
Приочаровывали нас.

Обняв гитару, ты нам пел
И любопытствовали звёзды:
Ведь в этот час ночной и поздний
Идти домой никто не смел.

Теперь ты там, ты им поёшь,
Твоя душа питает звёздность,
Судьба не строит больше козней –
Её уж нет, коль не живёшь.

Твой голос...
Мне ли позабыть!?
И слушая твои пластинки,
Цветы, как грустные улыбки,
Не знаю, где мне посадить.

Родился в 1927 году. Врач-психиатр. В Германии с 1998 года.

Публикации в альманахах «Побережье» (США), «До и после».

Книга стихов «Не спится мне».



В ПРОШЛОМ

Я думал, прошлое ушло,
но нет, оно ещё осталось.
С ним по ночам судачит старость
о том, что в жизни повезло:
пока мой не пришёл черёд
и финиша не состоялось.

А в мире тесно, каждый год
в нём лабиринт противоречий,
и, этот факт, пожалуй, вечен.
В тревоге мечется народ,
Детей стараясь уберечь
от ран, болезней и увечий.

И рубит прошлое, как меч,
его не вложишь просто в ножны.
Неужто справедлива речь,
что наше будущее – в прошлом?

ПЕЙЗАЖ

*«Грустные еврейские глаза Левитана,
в которых навсегда отразилась Россия»*

В.Сорокин

Как живая душа, цвет багровой рябины.
И окрашен уже алой кровью закат.
Молчаливых берёз смотрят в небо вершины.
Одиноким погост, что за краем судьбины,
и в бурьяне кресты покосившись стоят.

На полях тишина, и не выюжат метели.
В ожидании весны воцарился покой.
Лес застыл в зимнем сне – он проснётся к апрелю.
Отдыхает Россия на снежной постели,
Наполняется сердце щемящей тоской.

Есть в российском безмолвии вечная тайна,
Что неведомой силой манит всякий раз.
Забываются боли, обиды и раны.
Прорастает судьба на холстах Левитана
Из загадки еврейских задумчивых глаз.

ДНИ ЗОЛОТЫЕ

Начинаются дни золотые
долгожданной осенней тиши.
Только вы, словно сны молодые,
успокоите смуту души.

Помню, вас я впервые когда-то
с нетерпением ждал к сентябрю.
Вам, доставшимся мне как отрада,
с благодарностью дверь отворю.

Всё затихнет в дни бабьего лета,
лишь каштана упавшего треск,
да кукушка откликнется где-то,
за рекой вспыхнет золотом лес.

Я, как-будто, вернусь к предисловью
до начала земной беготни
в луговой аромат Подмосковья,
в золотые осенние дни.

МЕЛОДИЯ ОСЕНИ

Смена сезона – красок смешение.
Осень прощалась со мною, даря
в знак расставанья, взамен утешения
лист неоторванный календаря.

Мягкий, застенчивый солнечный луч
скорого ей пожелал возвращения
Только что вынырнул он из-за туч,
словно вернулся из мест заточения.

Пахли туманом поля в ноябре,
тихо шушукались листья осенние.
Проводы осени. Тишь, воскресенье,
лист неоторванный в календаре.

«БЕРЛИН ВЕСЬ В СНЕГУ»

*Дни снега в Берлине редки
А.Лайко*

Берлин необычен под снегом
в преддверии тёплой весны.
Снежинки порхают над веком,
над прошлым далёкой страны.

И кружится белая замять
над белою прядью волос.
Давно ослабевшую память
усилили снег и мороз.

Мелодия ветра. В ней слышен
минувшего времени шаг.
Как символ истории бывшей
полощет со свастикой флаг.

Застыла слеза на морозе.
Двадцатый кончается век.
Кровавыми строками прозы
украсился выпавший снег.

Всё это давно уж не ново:
Метель. Снегопад. Белизна.
Взгляни - на стихов заголовок:
«Берлин весь в снегу».
Нё до сна.



Кирилл Романовский

Родился 24. 07. 1985 года в Москве.
Студент.

В Германии с 2001 года. Публиковался
в альманахе «До и после».

* * *

Я пришёл к тебе в Треблинку,
рассказать, что дело плохо:
злая серая эпоха
круто выгибает спинку.

Вянут гордые десницы,
точитмышь небесный творог,
в подполе блуждает шорох
грозной Божьей колесницы.

Белобрысый парень, млея,
наполняет водкой каску.
Взвод уходит строем в сказку,
Ленин машет с мавзолея.

Цунарефа жрут вомбаты,
тлеет Эйфелева башня.
Здравствуй день позавчерашний:
аты-баты, аты-баты.

Зайка сдал властям хозяйку,
облепил фуражкой уши.
Яхве отмокает в душе
и поёт «тумбалалайку».

* * *

Я не пружу на мир с острой шашкою,
Не вгрызаюсь в поляны дзотами.

Я от молний прикрыт фуражкой:
Демиург правдив с идиотами.
Хоть и глуп, но обрёл достоинство.
Утонул без следа в нарциссах.
Быть распятым мне, Божье воинство,
На твоих золотых сариссах.

* * *

Вот приехал...И в кресле сидишь не дыша
- буквой «о» в слове «мор».
Вопреки тумакам выбирает душа
перспективный набор.

Серой молью таиться средь тюля и книг:
Дюрренматов, Кундер,
И за то, что к поэзии русской привык,
проклинать Бельведер.

От пощёчин друзей прикрываться щекой –
асимптотой рта.
Неустанно твердить, что ты сам не такой
и осанка не та.

Гневно выплюнуть жирный сибирский пельмень
и сменить без препон
всю архаику русских гневных деревень
на берлинский бетон.

Подивиться цветистости местных харизм,
что растут вкось и вкривь.
И в безвыходной злобе на свой эскапизм
звать Наташей Юдифь.

Как колодец и маятник, Гог и Магог –
в двух обличьях един...
Эмигрант, подчинённый железных дорог,
лишь себе господин.

* * *

Время лопает слабых своих сыновей
(свежанина всегда в дефиците).
не гнушаясь порой благородства кровей
бык сытней, но вкуснее – Юпитер.

Ни богам, ни героям спасения нет
вопреки древнегреческим мифам.
Тонкой струйкой песка перешибло хребет
и ромеям, и скифам.

Так танцуй, совоокая муза, как встарь
беспристрастна и разноречива.
Нам спасение – вечность: Пергамский Алтарь,
чёрный горб Гиссарлыка.

Смейся, муза, над вящим бессильем веков,
как сияющей прелестью граций.
Славословя тебя, сквозь завал черепков
вскинет руку Гораций.

Мы обманем эпохи: примерь-ка хитон,
я надену свои говнодавы.
Я слуга, ты патриций, ты бог, я никто...
Мы ушли от облавы.

Для чего вопрошаю в сотысячный раз,
хороша ль моя участь, дурна ли.
Я горю, и пока мой огонь не погас –
несть конца череде сатурналий.

* * *

Облик мой пергаменту сродни,
Палимпсесту под ножом писца:
Сходят постепенно годы, дни...
Вдохновенье срезали с лица.

Сто слоёв отспорил демиург,
А под ними – литер кутерьма...
Поступью Петрарковых Лаур
Полнится словесная тюрьма.

Вот и новый облик проступил:
Сквозь стола немое торжество,
Сквозь бесстрастность высохших чернил
На писца взглянуло – Божество.

МИХАИЛ ПОГРЕБИНСКИЙ



Родился 27.03.1942 года на Украине.
Художник.

Публиковался в альманахах «Берега».
«До и после»,
«Возрождение» (Мельбурн)

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Куриные перья, подхваченные ветерком, весёлой стайкой взлетали и мягко опускались на кусты.

У деревянного моста, спрятавшись в высокой траве, худощавый мальчишка с игривым чубчиком, напевая популярную песенку «Чик-чико», ловко обдирал двух зарезанных кур, и в каждом летящем перышке ему мерещилась десятикопеечная монета. Он добывал заработок собственным трудом, твёрдо усвоив, что деньги не пахнут.

В его родном городке жители строго придерживались предписания Торы — не выпускать кровь из птицы собственноручно, а предоставлять эту работу шойхету. Тот резал кур и выдавал их клиентам чисто ошпанными. Единственным мастером этого дела был старик Теплицкий. На свою работу он имел специальное разрешение раввината. В базарные дни у его рабочего сарайчика выстаивалась очередь. Теплицкий подвешивал связанных за ноги кур на крюки. Птицы, находясь в таком неудобном положении, бились, размахивая крыльями и, по-видимому, предчувствуя близкую кончину, издавали ужасающее кудахтанье. Шойхет зажимал курицу между ног, ловко запрокидывал её голову на спину, вырывал шепотку перьев на горле и молниеносно перерезал его сапожным ножом. Ошпарив птицу в тазике с кипятком, он очищал её от перьев. Гладкая, как новорожденный младенец, тушка возвращалась на свой крюк. Работал Теплицкий с высоким вдохновением и даже страстью, бормоча слова молитвы и слегка пританцовывая. После каждой очередной курицы он тщательно вытряхивал из носа и бороды застрявший в них пух.

Веня, так звали нашего героя, был единственным сыном маленькой круглолицей женщины, модистки, которая зарабатывала на хлеб, выполняя работу на дому у заказчиков. Нарядные платья она кроила из крепдешина и крепжоржета. Они не отличались изысканным фасоном, и порой, не находя в клиентке какого-либо намёка на талию, шила их прямыми с припуском. Всякий раз при очередной примерке, слегка одёргивая полы платья, она убеждённо приговаривала:

– Ну вот видите, как хорошо сидит, ровненько, свободненько, аккуратненько.

Веня очень любил свою маму, но он также ещё любил и карманные деньги, открывающие ему некоторую свободу и даже открывающийся комфорт. Треугольные вафли с душистой розовой начинкой и восхитительные брикеты мороженого, зажатые с двух сторон вафельными пластинками, безудержно и дьявольски тянули его в пристанционный буфет.

Ради этих деликатесов и овладел он ремеслом резника и раз в неделю сам обрабатывал двух маминых курочек не хуже шойхета.

И надо же было случиться, что встретились они на мосту через реку Буг. Шойхет Теплицкий направлялся из Голты в Богополь, а Венина мама, Геня, следовала в обратном направлении.

– Здравствуйте, мадам Кабакер, – приветствовал её старый резник, – с праздником вас. Желаю доброго здоровья и полную чашу дома.

– Спасибо, реб Йойне, и вам того же, и чтобы Бог был милостив к вам в старости, -ответила Геня.

– Как вообще поживаете, что у вас сегодня к праздничному столу? – продолжал старик.

– Слава Богу, живём не хуже других. Есть наливочка, свежая хала, жаркое, фаршированная рыба, холодец из петушков. Заходите, реб Йойне, будем вам рады, – пригласила Геня.

– А что, мадам Кабакер, – слукавил Теплицкий, – вы теперь решили резать кур сами, чтобы не дать мне заработать пару копеек раз в неделю?

– Ну что вы, реб Йойне, Бог с вами, постыдились бы такое говорить. Вы же сами знаете, что я каждое воскресенье посылаю к вам своего Веню с двумя курочками, даю ему для расчёта с вами два рубля.

– Я хоть и стар, – заметил резник, – но память у меня не отшибло. Я вашего мальчика не видел уже полгода.

– Чтoб мне околеть на этом месте, если я говорю неправду, – начала распаляться Геня, -если вы не верите, спросите у моих соседей, они не дадут соврать, сколько перьев мне приходится после вашей работы выдёргивать из крылышек и хвостов, иметь бы мне столько счастливых лет.

Теперь пришла очередь возмутиться старику, ибо была затронута

его профессиональная честь. И неизвестно, чем бы закончилась эта встреча, если бы Геня случайно не бросила взгляд на противоположный берег реки. Там, у моста, кусты были усеяны таким количеством куриных перьев, что казалось, будто они выросли вместо листьев.

И вдруг страшная догадка взволновала её. Как же она сразу не догадалась? Ведь с ошпаренной кипятком курицы легко и чисто снимаются все перья. Теплицкий, надо признать, за дело рук своих никогда не краснел. А её Веня, чтоб его холера прибрала, уже с полгода не просит у матери на карманные расходы.

– Чтоб его гром побил, – запричитала Геня, – а мне лопнуть со стыда на этом месте. Ведь недаром я говорила моему покойному Янкелю, мир праху его, что из нашего сына вырастет настоящий налётчик.

Вечером, выслушав полный комплект назидательных нравоучений, Веня был нещадно избит матерью и лишён карманных денег, а главное, самолюбие и свобода его были надолго поправлены.

С тех пор каждое воскресенье, возвращаясь с базара, Геня сама направлялась к сарайчику Теплицкого, торжественно неся в руках пару жирных кур.



МАЛЬВИНА ЗОР

Родилась в Киеве. Художник-график.
В Германии с 1989 года.

Публикации в альманахах
«Ступени», «До и после».

* * *

Металла-холода
Слабеет след,
И чувства молоды,
А мысли — нет.

Была девчонка я
С косой до пят,
Вдруг цепи звонкие
На мне висят.

Жгуты-сомнения
На мне не рви,
Играет звеньями
Боязнь любви.

А сила вселится
В мою мечту —
Что косы — цепи все
Я расплету.

* * *

Убегу от тебя,
Дверь захлопну и прочь,
Каблуками дробя
Долгожданную ночь.

Я не знаю, ни кто
Виноват, ни кто прав...
Нараспашку пальто
И навыворот нрав.

Кос рассыпался жгут.
Вдоль закрытых дверей
Мчусь. И слёзы бегут
По щекам. Кто быстрее?

Счастье там, впереди –
Шире шаг, выше взмах.
Сердце скачет в груди,
Каблуки топчут страх.

* * *

Нет, я не успокоюсь.
Нет-нет, я не уймусь!
Меня бросает совесть,
Меня терзает грусть.

Квартира в беспорядке,
В клочки разорван страх.
Обида без оглядки
Скрывается в дверях.

Сомнения исчезли,
Допив стакан до дна...
Но с кем я буду, если
Уйдёшь и ты, вина?

* * *

Сегодня я проснулась рано,
И тихо вышла на балкон,
Отдав объятиям дивана
Чуть тёплый предрассветный сон.

На небе незабудки стынут
И роз дыхание свежо;
И чертит стриж в углу картины
Крылом «Всё будет хорошо!»

* * *

Я, наконец, в ладу с сестрою,
Вины, обиды нет ни грамма.
Нас вместе четверо, не трое,
Всегда – сестра, я, папа, мама!

* * *

Я у родителей в гостях,
Лежу на солнечном диване.
Давно утихли детский страх
И боль былых переживаний.

Я не боюсь воспоминаний,
И в них, как в тёплых облаках.
Лежу на солнечном диване,
Я у родителей в гостях.

ИГОРЬ КОГАН

Родился 23.11.1947 г. в Москве. Режиссер.
В Германии с 1997 года. Публикация в
журнале «Советская музыка» и др.



ОСЕНЬ

Раскаракулились каракулями
Тучки-матери, тучки-дочери,
Небо синее размакакали,
К небу синему приторочили
Небо серое, небо сивое...

Эх, закончилось лето красное,
Распохабилась осень рыжая –
Девка стрёмная, девка страстная,
Девка жгучая и бесстыжая...
Распалатилась да раскинулась,
Распоясалась, растарашилась,
Дерзким зраком на небе вызрилась,
Тучей-мачехой оборачиваясь...

И свисают патлы клокастые
По земле граблями протаскиваясь...

Осень, осень – моя усыпальница,
Безначальная дума-молчальница...
Стёрто-серая, сыро-мглистая...
Облетело-коряво-локтистая.

* * *

Крупица памяти – песчинка вечности,
Мгновенье вырвала у бесконечности...
Спешит отчаянно испить безумия
От грани холода на грань Везувия...

Крупица памяти! Песчинка вечности!
Гуляй, шалавая, по бесконечности!..
Крути педалями пока отмерено –
Пока Вселенная в тебе уверена...

Крупица памяти...слезинка времени...
Стекает-капает с ресниц Вселенная...
Стекает-катится – на волю просится...
И прорывается у переносицы...

Крупица памяти. Песчинка вечности...
Пора причаливать. У Бесконечности...
Свои вселенные – свои мгновения...
И ты – несчётная, на них измерена...

* * *

Облака, облака – полноводные бока,
Разлились по белу свету на четыре тупика,
Растеклись по поднебесью, расплескались по углам,
Съели солнце, съели ветер, съели лето на планете...

Облака!..Не стыдно вам!?

Облака, облака – что глядите свысока?
Что наглеете не в меру,
Не намять ли вам бока?..

Горизонт за горизонт – ненавистный чёрный зонт...

А над ним, в заподнебесьи, без меня грохочет лето!
В фейерверки звёздных песен все галактики одеты!
Сто миров благоухают первозданных и нетленных!..
И глаза мои сверкают в перекрестии Вселенных...

Там, вверху, в заподнебесьи, без меня проходит лето...
И, флиртуя с мотыльками, нимфы жмурятся от света!..
Дарят им из звёзд букеты козлоногие сатиры!..

А внизу свои приметы – лужи, бабы и сортиры...

Горизонт за горизонт – ненавистный чёрный зонт...

РАЗГОВОР С ЗАМПРЕДОМ

Бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу...

Нигде остановиться я надолго не могу...

А если где и задержусь, то слышу лишь одно:

«Не коммунист, не коммунист... говно, говно, говно!»

И где бы ни был, ни ходил – везде один ответ:

«Не коммунист ты и яврей... страшнее зверя нет...

У нас такие не в чести... Молчал бы да пахал...

Ну, ты братуха,... ну, яврей,... ну, милай,... ты нахал...

Гляди, бородку отпустил... спинжак из тонкой кожи...

Я хоть кондовый, да Русак... как брызну щас по роже!..

Таких, как МЫ,... по пальцам счесть!

Трудимси! Вас жалея!..

Лишь МЫ эпохи ум и честь!

Другие!

Все!!

Явреи!!!

Гляди! Придёт тебе хана! Ведь жисть твоя – копейка...

А-а-а... мамка русская твоя... Так и она яврейка!!!

А впрочем,... малый ты ништяк... Найдём тебе работку!

Клади на лапу пять сотняг...и пять рублей на водку»

КОНЧИЛОСЬ ЛЕТО

Гнилые штиблеты по стылому лесу шаркают...

Мёртвые листья горелыми чипсами под микропоркой каркают...

Голые ветки изломанной клеткой к затёртому небу приварены...

Сыпятся сверху бисером мелким колкие капли-окалины...

И только всё кажется, солнце отважится, ещё раз погреть нам косточки...

Хотя понимаю – сентябрь не май... а так... примочки-напёрсточки...

Порохом-перцем дырочку в сердце взгляд мимолётный выжег...

А я всё порхаю по жёлтому лесу – смешной...с умасшедший чижики...

А там... наверху...
Над фабричной заставой... там, где закаты в дыму,
Глупый... дурной... золотистый... кудрявый мальчик...

Семнадцать ему...

Он мне кричит...он мне машет руками...
«Ну же!.. Попробуй!.. Взлети!..»

Тоненький луч яркоплазменной стали...

...и чижик на мёртвом пути.

СТАНИСЛАВ ЛЬВОВИЧ



(собств. Стефанюк). Родился в 1934 году. Химик. В Германии с 1996 года. Публикации в альманахах «Светотень», «Ступени», «Голоса», «До и после». Книга стихов «Искренне говорю вам»

ВЕЛИКАЯ ТЕОРЕМА ФЕРМА

*Война Народу не нужна! Святая Истина... Но всё же –
Из века в век – стране страна грозит оружием! Боже... Боже...
И малолетних шлют детей на штык; на пули... Вот дорога!!
И все в преступной слепоте крича: “За Родину!.. За Бога!!”
И разрушают свой же дом... И на себя же шлют проклятья...
Так было.. Есть... Ну, а потом?! Когда же Люди станут – БРАТЬЯ?!*

К марту сорок пятого всем воюющим – и немцам, и союзникам, и красноармейцам стало ясно, что до конца войны с фашистами остались считанные недели... Вот падёт Берлин и ... всё! Только в чьи руки он падёт? Советские или... американские? Поэтому все силы западных фронтов России устремились к одной географической точке...

Устремилась к ней и наша мотострелковая полурота – точнее всё, что от неё осталось: два десятка автоматчиков, полевая пушка и два специально приданных нам танка с полными боекомплектами... Наша задача: двигаясь вдоль Шпрее курсом, параллельным ходу основных сил фронта, перехватить инициативу, у немцев и заблокировать, запереть, постаравшись не взорвать, каменный мост у пункта 18-34, что в 20-ти километрах от столицы Рейха... Полковая авиаразведка дала успокаивающую сводку: у моста не обнаружено никакого скопления немцев, ни техники, ни живой силы... Может, они и не появятся вплоть до нашей Победы, но исключить какую-либо неожиданность было необходимо...

И действительно, по дороге к мосту ни на нашем берегу, ни на другом, правом – не было ни души – ни военной, ни гражданской... Но

спокойный ход нашего подразделения прекратился, как только мы подъехали к мосту и наши танки начали осторожно тарыхтеть по бетонированному мостовому покрытию...

Более того, вступить на мост и почти полностью его проехать оказалось легче, чем выехать с него....

Почти одновременно с нами с противоположной стороны на пока ещё свободное от какой-либо военной и гражданской техники предместье, как из не покидающих небо мартовских туч, вылезли – выползли два «фердинанда», один «тигр» и пара грузовиков, переполненных зелёными солдатскими фигурами...Автоматчики на ходу перескакивали через борта кузовов и торопливо разбежались влево-вправо, явно перекрывая все выходы с моста и подходы к нему...

Один из «фердинандов» метким выстрелом со второго снаряда разнёс «русскую» пушку, страховавшую всех нас в самом начале с нашей стороны моста... Но наши «тридцатьчетвёрки» неторопливо, как крокодильи на брюхе, подползали к сходу с моста, пехотинцы уже соскочили с их брони и, наивно таясь от немцев сзади танков, готовились к бою, для большинства из них (а, как выяснится позже, и для всех) – к последнему...

Пока же наши танкисты решили со всеми немцами разделаться сами: пулемёты активно косили немецких автоматчиков, укладывая одного за другим, а башенный наводчик ловко загнал снаряд под самый бок «тигра», случайно покачнувшегося, словно на крутобокой кочке и на пару минут подставившего бок аккурат по линии прицела... Второй снаряд почти догнал первый, разворотил слабую боковую броню и добрался до зарядного запаса... Взрыв не только уничтожил передовой «тигр», но и опрокинул слишком близко шедший за ним «фердинанд»... Пока другое самоходное орудие, вязко лавируя, обходило дымящие чудовища, наводчик второй «тридцатьчетвёрки» достал и его, пробив беспощадным кумулятивным снарядом лобовую броню и уничтожив всю его команду... Однако, фронтовая «справедливость» не преминула себя проявить: неизвестно как протиснувшийся вдоль мостовых перил «фаустпатронщик» вплеп свой роковой „кулак“ в бок нашего танка... Тот, охнув и присев, остановился, задымился и вдруг вспыхнул нехорошим, смертельным огнём, лишив танкистов возможности (а были ли они ещё живы?) выбраться из машины... Через пять минут погибла и вторая машина: чуть не вплотную к ней подобрался другой фаустпатронщик, сделавший своё военное дело, но, как и первый, заплативший своей смертью за чужие...

Спустя полчаса ветер смёл к реке дымные облака с машин и обнажилось всё предместье, ставшее кладбищем и военных машин и военных людей... Мост закупорился и для прохода и для проезда...

«Сюда и птица не летит, и тигр нейдёт...»

Дальше всех от реки стояла небольшая штабная легковушка... В ней, безразлично глядя в боковые стёкла, полупривалившись к дверцам, сидели два офицера... «Вальтер, взгляните-ка на мост...Что за чудело к нам ковыляет? Попробую его, голубчика, снять... Дай мне твой «вальтер», мой что-то клинит.. .»

Лейтенант Вальтер Кранц не отвечал и не шевелился... В лобовом стекле машины, аккуратно против его головы, блестящими звёздчатыми искрами расположилось роковое отверстие, которое выбила красно-армейская пуля... Вздохнув, обер-лейтенант Юрген Штольц непослушными пальцами расстегнул кобуру, висящую на портупее под кителем покойника и с усилием, скользя окровавленными пальцами по рукоятке, извлёк пистолет... Всмотревшись в ставшее мутноватым лобовое стекло «вагена», Юрген получше разглядел пешехода, уже добредшего до середины моста... Тот был в рваной, обгоревшей шинели (явно не рейхсверовского покроя), погоны, наверное, на плечах были, но отличить их от грязи и копоти не удалось...Офицерская фуражка сохранилась лучше – видна была тёмно-красная ненавистная звёздочка...

В руках у путника был длинный шест с перекладиной, через которую перевешивались грязно-белые бинты. Их было много и при желании всё можно было принять за белый флаг, хотя, скорее, сооружение напоминало церковную хоругвь, по святым дням выносимую из храмов.

Не торопясь (*попробуй тут поторопиться, когда ни руки, ни ноги не слушаются, да ещё и страшно болят*), Юрген отпер свою дверцу, поочерёдно вынес ноги за край машины; чуть не застонав, разогнулся и сполз вниз, на землю... Ноги могли стоять – это уже кое-что, чёрт побери!

Знаменосец тем временем подошёл к обгоревшим танкам, вокруг которых лежали сероватыми кучками тела бывших пехотинцев.. Наклоняясь к каждому, «русский» притрагивался к лицу лежащего, словно измерял на ощупь температуру; что-то бормотал, а временами просто проводил рукою по глазам, сверху, ото лба, вниз...

«Надо же, как Пастор – закрывает глаза покойникам» – сочувственно подумал Юрген –«а говорят, красные – все комиссары и агенты!?»

«Русский» уже подошёл к телу «фаустпатронщика» и проделал ту же процедуру... Второго, отброшенного взрывом к самой легковушке и лежащего ничком, человек с белым флагом попытался перевернуть, но не смог и сам чуть-чуть не упал, устояв лишь уперевшись как в опору, в флагшток ...

Юрген Штольц уже стал различать слова, произносимые русским офицером по-немецки: «Я – лейтенант Степан Разин – парламентарий! Я предлагаю мир! Прекратите бойню!»

Обер-лейтенант уже достаточно уверенно стоял на ногах, укрываясь, как ему казалось, за дверцей машины... У передних колёс лежал немецкий автоматчик. «Русский» наклонился и к нему, ощупал его лицо: оно уже стал коченеть и заметно остыло... Глаза были открыты, и в их голубизне отразилось голубое весеннее небо... Степан Разин тем же „пасторским“ движением закрыл глаза и произнёс по-русски: *«Во имя Отца и Сына... Вечная память...»* и тут же услышал щелчок взводимого курка...

Почти над его головой, покачиваясь, стоял немецкий офицер и уверенно направлял на него чёрный пистолет... Из рукава кителя, по кисти, а затем и по рукоятке *«вальтера»* капала тёмная кровь...

Степан Разин быстро выпрямился, но Юрген не смог уже справиться с новым положением для выстрела и вяло расслабил руку... Пистолет выпал и... выстрелил... Пуля чиркнула по асфальту и, как пчела, влетела в уже мёртвое тело лежащего немецкого солдата... Тот вздрогнул, но это вздрогнула мёртвая плоть... Обер-лейтенант тоскливо, словно бычок на бойне, взглянул на русского офицера... Молчали недолго...

«Немедленно надо перетянуть руку, иначе конец» – негромко произнёс Степан и стал срывать бинты со своего парламентарского «флага»...

В десять минут «первая помощь» была оказана, и оба воина отошли в сторонку от смертного места...

Они стояли, без сил навалившись на перила моста... Внизу, еле шевелясь, с меланхоличным, почти неслышным шелестом, текла мутноватая весенняя вода... По течению проплывал случайный мусорок... Откуда-то приплыла серая доска, точнее, огромный обломок от того, что было несколько лет назад доской... Она уткнулась в бык моста, чуть поколебалась, развернулась на сто восемьдесят градусов, и, словно проделав ответственную работу, неторопливо, важно, но всё-таки бестолку, поплыла дальше... Вода несла её куда-то, не обращая внимания ни на мост, ни на небо, которое старалось хоть не ярко, но отразиться в ней, ни на Войну, надоевшую воде явно до смерти, и уж конечно, ни на двух заморенных полуживых вояк, без радости следящих её шевеление...

Юрген с трудом собрал накопившуюся во рту противную сладковатую слизь, сплюнул красный комок и вновь с хрипом закашлялся...

«А ведь война заканчивается, будь она насмерть проклята» – негромко прохрипел он то ли сам себе, то ли обоим сразу... *«Чем займётесь, если уцелеете, Степан?»*...

«Тем же, что и до войны... Теорией Чисел»... почти прошептал Разин, отвечая на заданный самому себе только-что абсолютно такой же вопрос...

«Так Вы – математик?» – удивлённо повернул к нему закоченевшую голову оберст...

«Как-только закончу оставшийся пятый курс Университета и, пожалуйста, начатую диссертацию»...

«А у вас в России все, что ли, математики занимаются «Теорией Чисел?»

«Да нет... Это я свихнулся на теореме Ферма лет в пятнадцать, вот и вылечиться не могу... Засосала, как болото... Думал, что вот-вот, и найду решение... Ведь было же оно у самого Ферма...!»

«Ну, и удалось найти?»

«Смешно сказать, стояли мы лишнюю неделю под Варшавой... Вы-то там с повстанцами дрались, небось боялись, что мы с Пражского берега на помощь им рванём... Вислу здесь и курица перейдёт... Но был приказ ждать... Ждали... Тихо злились, но против приказа не пойдёшь... Верхнему Начальству было виднее, кому помогать, а с кем распрощаться... Вот я от безделья опять вернулся... И тут как пуля в череп – всё вдруг высветилось...»

«Вы, герр Степан Разин, в самом деле нашли ОБЩЕЕ решение Великой теоремы Ферма?!»

«А вы, Юрген, не математик ли сами, раз знаете, «что есть что?»

«А кого же посылают в артиллеристы, как не математиков, даже не доучившихся? Конечно, он... Но вы будете смеяться, я тоже был до войны увлечён этой загадкой... Жаль только, мы слишком быстро взяли Варшаву, и у меня не было времени сосредоточиться...»

Дальнейший разговор перешёл на специфический слэнг, который и повторять, и записывать не имело никакого смысла.. Тем более нам, думающим, что «теория чисел» – это что – то вроде таблицы умножения...

Высокоучёная беседа «корифеев» вдруг прервалась... Юрген медленно присел и изогнутым крючком тяжело улёгся на бетоне, у самого края.. *«Кажется, я умираю...»* Степан Разин попытался прощупать пульс по руке, затем по шейной артерии... Под его пальцами еле-еле, аритмично колыхалась покрытая засохшей кровью жилка... Юрген открыл глаза – вначале один, затем и второй...

– Степан! Если вы меня не довезёте до госпиталя – я умру! Кто же тогда оценит Ваше открытие, Коллега!» почти незаметно он улыбнулся лиловыми губами...

Математики соображают быстро и предельно оптимально... Усадив -уложив Юргена на место Вальтера, которого пришлось вытащить, раздеть почти догола (то есть снять китель, португеноу с пистолетом, выроненным ранее Юргеном, нательное бельё и фуражку, а также портмоне с аусвайсом и прочими документами), лейтенант Красной Армии Степан Разин быстро переоделся, завёл легковушку и, оглянувшись напоследок на ставшее кладбищем предместье, вырулил в горку, ища

указатель «на Берлин».

Офицерские формы, тип штабной автомашины, свежие пулевые шрамы на корпусе «вагена» не вынуждали нечастых регулировщиков останавливать машину.. Солдаты козыряли, Степан деликатно и равнодушно, как и положено обстрелянному штабисту, кивал им в ответ... Через полчаса они подъехали к подъезду одного из университетских корпусов, где стояли фургончики с красными крестами...Санитары без вопросов извлекли полубессознательное тело Юргена Штольца и положили его на топчан в приёмном покое... Увидев приоткрывшиеся глаза офицера, Степан наклонился к нему и услышал:-«*Русс... Ферма... Карашо...*»...Глаза вновь закрылись...

Оставив машину у бордюра вблизи Исторического Музея, Степан Разин решил пройтись немного и осмотреться, а лишь потом искать выход из получившейся явной безвыходности...

Над ним высились помпезные стены Музея. Окна в нижней части были заложены мешками с песком, а сверху странно голубели... Присмотревшись, Степан с удивлением увидел сквозь целые или полувывитые стёкла чуть сереющее берлинское небо! Оказывается, за целой на вид фасадной стеной была...пустота... Как держались стены здания, превращённого бомбёжкой в каменную коробку без крышки – было не понять...

Степан и не заметил, как с фасада медленно и бесшумно, словно в немом кино, отвалился кусок лепнины: голова амура или какой-то девицы, перепрыгивая с одной детали фронтона на другую, набирая скорость и смертельную для живого тела силу, упала на непростительно зазевавшегося человека в офицерском кителе... Плотная офицерская фуражка, возможно, спасла ему жизнь, но это ещё надо было уточнить... Тело подняли патрульные солдаты и отнесли в находящийся поблизости «шпиталь»...

...Степан открыл глаза: над ним склонилось спрятанное за зеленоватой маской чьё-то лицо.

«Вы можете говорить, герр Кранц?» Голос был незнаком...Степан молча кивнул головой, но предпочёл промолчать...

...Прошло много десятилетий...В актовом зале берлинского Университета имени Гумбольдта ведущие математики мира приветствовали новых лауреатов премии имени Никола Бурбаки – математического аналога Нобелевской премии... В этот раз её получили совместно двое учёных: Вальтер Кранц и Юрген Штольц, впервые нашидевшие много лет назад Общее доказательство Великой Теоремы Ферма...

* * *

Мариночке

Года пролетают, как пёстрые птицы...
Когда – попугаем... Когда – воробьём...
Когда промелькнут, как простушка – синица...
Когда – неприятно – как злым вороньём!
Но были года – соловьиные трели!
А были – кукушки: считай и считай!
То зяблики песнь монотонную пели...
А то – петухи! Только сон прогоняй...
Но помню – немногие – тихо, спокойно,
Как лебеди – плыли – и днём и во сне...
Тогда исчезали и беды...И войны...
И ты, как на крыльях, летела ко мне!

* * *

«Значит, нету разлук.

Существует громадная встреча»

И.Бродский

„Значит, нету разлук. Существует громадная встреча.“

Этот стих я прочёл в „Интернете“ – под самый под вечер...

Мне принёс электронный почтарь – одиночка в берете,

С жёлтой бляхой на сумке –точней говоря – на дискете...

Стих тот был из далёких – туманных – десятых,

Где о зонах, не веря, шептали на кухнях ребята;

Где ещё не набухли в глуби семена перестройки;

И пиджачные пары ещё не сменили на тройки...

Я и сам из тех лет вынес дымные трубы и вынес печали...

Коммунальные кухни меня влажным духом встречали...

И дворовые игры – казались казацкою волею;

И Война потихоньку осталась забытою болью...

...То, что „нету разлук“ – это только Поэта *мечтанье!*

Наша Жизнь уж давно – что ни день, что ни ночь – расставанье...

Расстаёмся с Родными –так Богом предписано было...

Расстаёмся с Любовью – „Любила, да, видно, забыла!“...

Расстаёмся с Друзьями – по глупости, иль по причине...

Расстаёмся с Отчизной! Не плачем, поскольку – Мужчины!..

ИЗГНАНИЕ ИОСИФА БРОДСКОГО ИЗ СССР

И он стоял – еврейский мальчик рыжий
Чем не босяк? Один...Без багажа...
Без дома.. Без семьи... Какие вам Парижы?
Скорей до трапа! *Хватит тоннажа?!*
В домашних тапках, и слегка в смушеньи...
Держа, на – память, *русский* апельсин...
Стоял простой обычный Гений,
Как на дуэли: вместе и – один!
Мать плакала. А други – ликовали.
“Ещё один на все века спасён!”
Угрюмо недруги бумаги выправляли:
Им кукиш виделся со всех сторон!

ТОСКЛИВЫЙ ДОЖДЬ

Дождь чеканил подоконник
Дагестанскою иглой...
Гнал стада усталых коней
На далёкий водопой...
Надоедливо... Бесстыдно
В темя бил и по ушам...
За окном – ни зги не видно.
А колёса всё шушат...
Сердце ныло и щемило,
Недовольства не тая.
Это было, было, было
В середине января.
Это было на чужбине...
Это было нестерпёж!
Гнул Берлин ночные спины,
Прятал Правду, Боль и Ложь...
...Тусклый шарик валидола
Мне покоя не принёс.
А “*малява*” с дальней воли
Задала мне свой вопрос,
На который ни ответить,
Ни смолчать, увы, никак...
Нет покоя в целом свете!
И никак не свистнет рак...
Связи рвутся постепенно
Между прошлым и тобой...
Море плещется без пены...
Ветер ноет, как гобой...



Родилась в Ленинграде. Художник.
В Германии с 1996 года. Публиковалась
в альманахах «До и после». Книги сти-
хов «Анютины глазки», «Стихи»

КРАСАВИЦА

Носорожица смотрится в зеркало:
«До чего же меня исковеркало!
Никому, никому я ненужная,
Очень толстая и неуклюжая!»

Но сказал Носорог: «Носорожица,
Очень нравится мне Ваша рожица!
Вы толсты, Вы красивы, ухожены,
Чрезвычайно милы, толстокожены.

Глазки меньше ноздрей, рот воротами,
Окружу Вас любовью, заботами».

И румянец красивый малиновый
На мордашке её дерматиновой
Подступает к ушам от смущения...
Скоро свадьба. А нам – угощение.

УЛИТКА

Возит улитка на спинке свой дом.
Медленно ползает, тащит с трудом.
Шкаф и кровать, и диван, и комод –
Всё это вместе улитка везёт.

Трудится крошка-улитка одна.
Стало темнеть, показалась луна.

Сделав из листьев высокий помост,
Спрятала в домик и рожки, и хвост.
Дом-завитушку устала таскать,
Взбила подушку, легла отдыхать.
Дом не оставит она отчего?
Чтобы никто не вселился в него.

ПОТЕРЯ

Утка плавала, ныряла
И серёжки потеряла.
Плачет, бедная, навзрыд:
– Так любила я нефрит!

Гусь задумался немножко:
– Ну и что? Купите брошку,
или может быть браслет,
всё равно ушей-то нет!

ГОРЬКАЯ ЛЮБОВЬ

Жёлтый Одуванчик
На газоне рос,
Деревенский мальчик
Между царских Роз.

Скромным, но заметным
Одуванчик был,
Чувством беззаветным
Розу он любил.

Но не замечая
Ничего вокруг,
Весело играя,
Посреди подруг,

Розовая Роза
Принесла печаль –
Острая заноза,
Траурная шаль.

Одуванчик гнётся,
Молит небеса,
Но она смеётся –
Гордая краса.

Трепетная нежность,
В лепестках дурман,
Грации небрежность,
Розовый обман.

Мимолётный ветер
Розу наклонил,
Просто, как в дуэте,
Их соединил.

Мальчик желтоглавый
Побледнел чуть-чуть,
Как горячей лавой,
Боль сдавила грудь.

Шип вонзить успела,
Как стальной клинок.
Розе мало дела –
Погибай цветок...

От любви стал горьким
И седым, как дым,
И на ранней зорьке
Умер молодым.

«ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ»

Скособоченный домик за ёлками,
Словно небом прижатый к земле,
Окружённый сухими метёлками
В неизвестном далёком селе.

Обветшалый, он зябко сутулится,
Не приветствует лёгким дымком,
Лишь глазами тёмными хмурится,
И не хлопает дверь под замком.

Нет ни лая вокруг, ни мычания...
Может быть, это всё камуфляж?
Гробовое немое молчание,
И тоску нагоняет пейзаж.

Нет ни троп, ни дорог, ни названия.
Нет реки, но – разрушенный мост.
Так война своим мёртвым дыханием
Превратила деревню в погост.

Лишь воронки, крапивой проколоты.
Ни крестов, ни фамилий, ни плит.
Кровожадной войной перемолоты,
Сколько здесь безымянных лежит?

Нет венков на земле искалеченной...
Птица сбросит перо невзначай,
Да ещё, словно кровью расцвеченный,
В алых каплях растёт иван-чай.

НОРА ГАЙДУКОВА

Родилась в СПб. Психолог. Автор статей и учебных пособий.

Публикации стихов и переводов в альманахах «До и после»



КАЗАНОВА

*Под знаком Овена, 2 апреля 1725 года родился
Джакомо Казанова. Он умер спустя 74 года, в
нищете и одиночестве, в объятьях резиновой куклы.*

В парике и нарядных платьях
к нам спускается Казанова.
Побывать бы в его объятьях,
повторяю я снова и снова.

Оглянусь и опять увижу
глаз горящих его приказы.
Он подходит ближе и ближе.
Вдруг полюбит меня хоть раз он.

Среди скучных мужских подобий
Казанову искать пыталась.
Тщетно, в общем калейдоскопе
не найти. Ах, какая жалость.

Может, он заблудился где-то,
как прожить без него, не знаю.
Или бродит по белу свету,
схоронился, нас избегая.

Нет. Болеет, дряхлеет, киснет
и с резиновой куклой дружит.
Не находит радости в жизни...
Казанова! Ну, чем я хуже!

ХАБАНЕРОС

(песни в стиле Гавана-Куба)

На побережье – праздник Хабанерос.
Испанцы в моду постепенно входят.
Танцуют все горячее фламенко.
С воланом юбки, шаль и кастаньеты.
Старушки все, как девушки, одеты...

На побережье – праздник Хабанерос.
Песок прохладный – это зал концертный.
Карибской грусти трепетно внимаем.
И волны, что мелодию качают,
как будто ритмам песен подпевают...

О чём они поют? О том, что было.
О бурной жизни среди скал у моря,
что шумно плещется в волнах прибоя
и о тебе, любимая, конечно,
о том, что будем мы с тобою вечно...

Осенним утром, в той стране далёкой,
когда темно и одиноко очень,
и небо, что прозрачно и высоко.
В глазах возникнет праздник Хабанерос,
лихие песни лёгких кабальерос.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПИТЕР

С самолёта – в разбитый автобус,
на унылый Московский проспект.
И приходит невольная робость
там, где прежде светился успех.

Бродят тени людей и событий.
Всё покрыла Вселенская Пыль.
И с трудом вы узнаете Питер,
где смешались легенда и быль

На немых, забытых проспектах –
вереницы разбитых авто.
И врезаются лезвием в сердце
старики в полудранных пальто.

Скорбь и горечь на лицах усталых,
три гроша на ладони дрожат.
В куртках кожаных с видом «бывалых»
молодые куда- то спешат.

Вот и девочки в юбках коротких,
на высоких плывут каблуках.
За улыбкой кокеток порочных
вы легко угадаете страх.

Ну, а что за немытым окошком?
Стол, кровать, и бутылка, и грязь.
А судьба, как бездомная кошка,
на асфальте уляжется спать.

Прижимайте мобильники страстно
и кричите, что так жить нельзя!
А потом голосуйте безгласно
за ещё молодого вождя.



Инна Иоселидович

Родилась в Харькове. Филолог. Журналист. В Германии с 1993 года.

Публикации рассказов, эссе, рецензий в журналах и альманахах: «Радуга».

«Эйникайт» (Украина), «Алеф», «Силуэт» (Израиль), «Литературус» (Финляндия),

«Литературный европеец» (ФРГ), «Чёрный квадрат» (Великобритания) и др.

Две книги рассказов.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Она была первым родившимся в семье ребёнком. Это произошло ещё в конце девятнадцатого столетия в местечке Черкассы, Киевской губернии.

Кроме неё, до Октябрьского переворота 1917 года, в семье портного Мордко-Бера родилось ещё восемь детей, да трое поумирали либо в родах, либо во младенчестве.

Она, как и младшие сёстры, не задумывалась над Будущим. Путь их был предначертан не кем-нибудь из людей, а самим Всевышним: каждой из них предстояла обыкновенная судьба обыкновенной еврейской женщины. А может быть, и не совсем обыкновенной, может быть, одной из них и суждено было родить Мессию! Ведь никому ни о чём не ведомо...

С самого детства готовились они стать жёнами, и детей своих любить и растить, радоваться им, женить и выдавать замуж, нянчить внуков...

Они прилежно учились всему, чему их обучали, и даже переданное им знание о Погроме не страшило их, было это зло неизбежным!

Ничего особого, интересного или захватывающего, не доносилось для них оттуда, из лежащего по ту сторону «Черты оседлости», большого мира. Укоренённые, жили они в вовсе и не в «удушающей атмосфере», как писали тогда еврейские «просветители» и нееврейские публицисты еврейского местечка. И даже материальная скудость повседневности – ведь отец, один работая, содержал немалую семью, освещалась субботними свечами, подготовкой к праздникам, самим празднованием их.

– Гут шабес, – восклицали девочки пятьдесят два раза в год и были счастливы!

Поначалу никто и не заметил, как что-то *сдвинулось*, и не только в их семейном существовании.

Как и другие семьи, почувствовали они это только тогда, когда стал сотрясаться весь их патриархальный уклад. Все молодые люди стали тянуться в большие города, где евреям было запрещено проживание. Поговаривали, что хедеров да ешив маловато для современного образования, а договорились до того, что и девушкам необходимо в университетах учиться!

Отец их – Мордко-Бер ругал стремящихся к «нововведениям», говорил что Гаскала – пустая затея, что евреям необходимо просто жить по Заповедям, да и всё, а не лезть в Большой мир, где ничего-то нового и нет, это ж общеизвестно, об этом ж ещё Соломон-мудрый говорил.

Однако, и он поступил, как и все вокруг соседи, родичи и знакомые. И его не миновала чаша сия – заражённая. Нет, нельзя было сказать, что он проникся идеями Просвещения, но всё же продал кормилицу-корову и послал свою дочь, способную к наукам Бейлку, учиться на врача в Харьков. А перед тем нанял ей учителя русского языка, чтоб говорила на нём, как на родном, без идишского акцента.

Харьков был вне черты оседлости, и чтобы побывать в нём, молодой девушке пришлось выправить документы и жить под видом дочери купца-гильдейца. Деньги, что выручили за корову, ушли на взятку в полиции да на обустройство на первых порах.

Ходила Бейлка по урокам, репетировала за гроши не только в немногочисленных еврейских, но и в русских семьях, снимала угол на окраине у старой, почти нищей мещанки. Но главное, что поступила всё-таки она в Женский медицинский институт, и только и знала, что днями и ночами без продыху учить да зубубривать.

Была ей эта потаённая жизнь в тягость, ведь даже молиться как следует, как положено, как привыкла, она не могла! Ведь хозяйка её, несмотря на свою крайнюю бедность, тотчас бы её и выгнала. Плакала она ночами, беззвучно, в подушку, да ничего поделать не могла, не воле ж отцовской противиться?! Понимала, что надежда семьи вся на неё, будущего врача, что не только поддержит их, а и младшим выучиться поможет.

Такова была её судьбина – томиться в этом чужом городе, где было ей не по себе...

Не знала она, конечно, что проживёт долгую жизнь именно в этом городе и умрёт в нём.

И если раньше, там у себя в Черкассах, она никого и ничего не стеснялась, то здесь ощущала себя чужой. Здесь нужно было следить за собой, осторожничая, опасаясь всего – невольной ошибки в русском

языке, своей одежды, своего лица, наконец. Была она природной блондинкой с голубыми глазами, но ей казалось, что даже прохожие на улицах *знают*, кто она.

Писала она домой еженедельно, и не напрямую, но упрасивала отца, забрать её домой.

Однажды писала письмо прямо в институте, во время лабораторной работы. Она забылась, до того ей хорошо было, когда справа налево бежали строчки... и не слыхала, как подошёл преподаватель, спохватилась уже только тогда, когда он отобрал исписанный листок. А он потрясал им и всё тыкал пальцем в убогий текст, возмущённо вопрошая:

«Что это? Что это вы себе позволяете Бейла Мордко-Беровна?! А? Что?» Она покраснела так, как могут краснеть только натуральные блондинки, всей своей белой кожей. И сидела, втянув голову в плечи, словно на неё сыпался град ударов. Она слыхала, как он произносит с каким-то особенным удовольствием её имя и отчество, и до бесконечности повторяет его, и они уже звучат как оскорбление, как ругательство... Именно тогда, кроме обыкновенной застенчивости, она испытала стыд?! Стыд за свой, такой отличающийся от русского, от кириллицы – идиш, за своё имя и отчество, вызывающее смех у сокурсниц, вообще за то, что она – еврейка!

Тогда же она и отправила домой письмо, где впервые прямо писала о том, что житья здесь нету, немоготу ей, невозможно, просила, чтоб забрали её отсюда или разрешили вернуться.

В ответ получила она суровую отцовскую отповедь – *должна!* А что до того, что терпит унижения да издевательства, так евреям не привыкать, так было, так есть и будет... Этого не избежать... И роптать тут нечего, а кроме того ей и негоже, поскольку открылась ей дверь в Большой мир, шутка ли, она – дочь бедного портного – врачом будет!

Что могла в ответ на отцовские поучения сказать девушка? Что хочет домой, где все такие же, как и она, что уж пора бы ей замуж да детишек рожать, а не зубрить латинские названия да бугорки на человеческих косточках заучивать... И что не дело для евреев, а особо для еврейской девушки, проводить дни и недели в «мертвецкой»... Не ответила она отцу, только покорно рукой махнула. Ничего не поделаешь, не попишешь...

Когда пришла пора ей выбирать медицинскую специальность, остановилась она на новой по тем временам области медицины – рентгенологии.

Ей было хорошо во тьме рентгенкабинетов, там и люди представляли иными. В призрачном свечении живой человек раскрывается биеньем неустанного сердца или постоянно вздыхающими лёгкими, оскаливающимся черепом или всем костяком скелета... Ежедневно ей открывалось то, что было сокрыто от других, созерцавших лишь телесную оболочку

человека.

На Первой Мировой она – ещё сестра милосердия, но на бело-финской и Отечественной уже рентгенолог, майор медицинской службы, награждена двумя орденами и медалями.

Покойный отец всё рассчитал правильно: она оказалась опорой своим братьям и сёстрам, выучила двоих младших, ведь она всегда получала хорошую зарплату. Рентгенолагам доплачивали за вредность, к тому ж и рабочий день у них был короче, были и другие льготы. Так и жила она – знающим диагностом, уважаемая больными и коллегами.

И даже когда в 53-м её вместе с другими сотрудниками-евреями, всех под одну гребёнку, уволили из Харьковского рентгенинститута во время так называемого «дела врачей», она недолго оставалась безработной.

И всё вроде бы хорошо складывалось, и не о чём было жалеть: черта оседлости рухнула в феврале 1917 года. Правда, потом она и не помнила, когда ж был мир – одни войны: от гражданской до холодной.

Она даже как-то странно-легко относилась к тому, что не пришлось ей собственную, свою семью заиметь. Подчас она скорбно-серьёзно замечала: «Женихов на войне поубивало!», а чуть погодя, уже посмеиваясь добавляла: «А те, что уцелели, на русских девушках поженились!»

После первого давнего стыда из-за того, что была она еврейкой, много воды утекло. И Белла Марковна, как она теперь именовалась, перестала молиться Ему, как в детстве или ранней юности и на Него уповать. Даже до того дошла, что попросту перестала верить в то, что Он – есть! Так было ей легче и спокойней. Она, может быть, и в КПСС вступила бы, да вначале подводило социальное происхождение, как-никак отец – портной был кустарём-одиночкой, потом принадлежность не к классу, а к прослойке, а уже после Отечественной войны – «криминальная» национальность.

Оказалась Белла Марковна отменного здоровья, хоть и работала она с вредоносными рентгеновскими лучами. Они ей вреда не причиняли, а как будто, каким-то неведомым образом, даже укрепляли её организм. А ведь начинала она ещё в ту пору, когда и средств защиты нормальных не было.

На пенсию Белла Марковна вышла поздно, очень уж не хотелось дома сидеть вместе с младшей сестрой, пенсионеркой. Да пришлось...

И вот, глядя на хлопочущую по хозяйству сестру, тоже не вышедшую замуж, задумалась она. И это оказался для неё не просто «вопрос», а «глобальный вопрос» – о судьбах еврейских женщин!

Она вспомнила свою, изначальную, жизнь в Черкассах, да и в других местечках, где проживала многочисленная родня, тогда там было мало старых дев, – еврейские девушки всегда выходили замуж. Это было непреложно, как Заповедь. Девушек – круглых сирот выдавала замуж

община и давала им приданое. А теперь? Ведь большинство старых дев именно еврейки! Почему? Не стала Белла Марковна додумывать обо всём этом дальше, уж больно безрадостная картина представляла...

Очень многое изменилось в еврействе после того, как российские евреи изменили своему еврейству. Кажется, только что в детских домах не было еврейских детишек. Но кто об этом знал наверняка?

Умерла Белла Марковна не от болезни, а от несчастного случая – после вечернего чая, ополаскивая стаканы, она поскользнулась на мокром линолеуме кухни и сломала шейку бедра. Видно, всё же истончилась кость к девяносто девяти её годам.

Она знала о безнадежности своего состояния, что никогда ей уже не подняться и не ответить на вопрос о своём самочувствии: «Вертикально!» И тогда она отказалась от жизни сама. Десять дней не принимала пищи, будучи уже не живой, но ещё не мёртвой.

Казалось, лежит она в забытьи, а она всё свою думу думала, что неправ был всё-таки её отец, насильно вытолкнувший её в «большую» жизнь, в большой город, а не выдавший её, как и положено было, замуж. Она столь горько сожалела об этом, словно была совсем-совсем молоденькой девушкой.

Она и сама не заметила как снова *доверилась* Богу, от Которого, казалось бы, давным-давно отошла. И не размыкая губ молилась Ему и просила простить и её, и совершившего столько ужасных ошибок отца, просила у Него за братьев и сестёр, за племянников, племянниц и их детей и за всех заблуждавшихся... На святом, и как оказалось, помнимом ею языке, взывала она к Нему... И из полуприкрытых, а то и вовсе закрытых веками глаз её, текли слёзы. Стоявшие вокруг умирающей думали, что эти обильные слёзы вызваны нестерпимой физической болью.

Лео́нид Сы́солетин

Родился 20.10.1936 года в Ростове-на-Дону. Инженер.

В Германии с 1994 года. Публикации в журнале «Дон», в альманахах «Третий этаж», «До и после».



МОЛИТВА

Хочу я, молча, от неё уйти
И связанное с ней забыть навеки.
Зачем она стремится извести
Во мне всё то, что ценно в человеке?

Зачем старается смешать меня
С безликой массой на себя похожих,
Во мне моё бессмысленно кляня?
Стерпеть всё это дай мне силы, Боже!

Дай Бог мне сил и разум сохрани,
И огради от подлых мыслей тоже.
Прости меня и строго не вини
За то, в чём я себя виню, быть может.

* * *

Сомкнётся надо мной вода
И выпустит без всплеска душу.
И никому уже тогда
Покой я больше не нарушу.

Ни памятником, ни крестом
Не будет адрес мой отмечен.
А спор о смысле бытия
Всё так же будет бесконечен.

С каждым годом был старше когда-то я,
А теперь с каждым годом старей.
И курносая баба проклятая
Круглый катит ко мне юбилей.

Утром дворники листья сухие
Собирали и жгли в кострах...
И опять я вспомнил Россию
И свой дом на семи ветрах.

ЯНВАРЬ, 2005

На солнце взрывы. На земле цунами.
Конец Вселенной рядом где-то бродит.
А мы сидим и хлещем водку с вами,
И до Вселенной нет нам дела вроде.

Да и какое может быть нам дело
До не зависящих от нас событий.
И потому, чтоб сердце не болело,
Не ищем мы ни истин, ни открытий.

А тем, кто хочет истины отведасть,
И смысл в короткой жизни обнаружить,
Судьба готовит «Пиррову победу».
Экклесиаст тому примером служит.

ОСТРОВ УЗЕДОМ

Как успокаивает нервы
Нерезкий, в дымке, горизонт
И цвет голубовато-серый
Морских неторопливых волн.

Но незаметно пролетели,
Мелькнули, словно бы, два дня,
Омытых морем две недели,
Что были в жизни у меня.

А завтра снова город шумный
Меня мгновенно поглотит.
Натянет туго нервов струны,
Машинным газом насладит.

Но зелень леса дюн прибрежных,
Прохладу утра в том лесу,
Как память ласк любовниц нежных,
В душе своей я унесу.

Олег Никогосян

Родился в 1947 году в Ереване. В Германии с 1998 года.

Публикации стихов и переводов в альманахах «Третий этаж» и «До и после». Книга «Натюрморты»



ЕССЕ НОМО!

Без перспективы, без звезды,
Расставшей за горизонтом
С каким-то безразличья понтом.
Неотделимые скрижали
Его весь путь сопровождали
Через обрыдлые места:
Знакомые и так – не очень,
В любое время дня и ночи
С обузой вечного креста,
Довлеющего неспроста
Над ним всю жизнь. Не перестав
Ташить его, он всё ж подумал:
Быть может, зря со дня рожденья
Такое вот сопровожденье
Для будущего, вроде, блага...

А это всё – кому-то надо?..

ДЕКАБРЬСКИЙ ШТРИХ

Ты отходишь, уходишь всё дальше и дальше.
Остальное – детали, проносятся мимо.
Видно, мною утеряно чудное «раньше».
А тебе – надоело быть мною любимой.

Ночь искрится рождественской вспышкой петарды;
В новогоднем чаду затеряться не трудно.
Я курю. Я смотрю из окна на мансарды.
В кольца дыма ловлю я берлинские будни.

УВЫ..

Во сне аморфно проживу,
Забыв про старость и усталость,
Среди банальных дежа вю,
Расслабившись, хотя бы малость...
Увы: напомним поутру
Зеркальный вид мой наяву
Что только доживать осталось...

KURZE NOVELLE

Сначала Бог отнял удачу.
Затем лишил любимых.
Оставил совсем без сил.
Лишь память не отобрал...
Тогда ему захотелось
Поскорей умереть.

MULTIMINI

* * *

Дни проходят
Дети заняты собой
Дольше блестит лунный свет на подушке.

* * *

Осень не тешит багрянцем
Голые стены квартиры
Внемлют напольным часам.

* * *

Пусто на том берегу
Медленно лодку относят
Вдаль пожелтевшие воды.

* * *

Вечерами сквозит
Во дворе под каштаном
На скамейке у дома.

* * *

Когда-нибудь спешить совсем не надо
У изголовья притомились чётки
Себя спросить – хлопот не оберёшься.

* * *

Наедине с самим собой
За чашкой чая
Перебираю ворох пауз.

* * *

Видно так суждено
Превозмочь напоследок
Суетливое бремя прощаний.

* * *

Не удивляюсь никому за речи
Не отвергаю тех что говорят
Но волшебства молчанья не предам.

ДАВИДУ

Словесный шлак, как реквизит,
Претит порою и поныне.
Вот, у тебя с утра *москвит*,
А у меня – насквозь *берлинит*.

Вокруг роится суета.
Вся подворотня такая;
Похоже масть пошла не та –
Верняк при этом не играют.

Шанс в воздухе опять повис:
Тут баш на баш – решиться снова;
(Когда в девятерной я – вист),
Хотя ваше-то, - пофигово.

Подсуетиться недосуг.
Да, неохотится обратно;
Но, коль взбреднёт примчаться вдруг, -
Пойдём поужинать *арбатно*.



ГЕНРИХ ШМЕРКИН

Родился в 1947 году в Харькове. Инженер. В Германии с 1992 г.

Публикации в «ЛГ», «Магазине Жванецкого», «Новом Крокодиле», «Крещатике», «Литературном европейце», «Родной речи», «Веке21-м», «До и после» и др. Две книги юмористических стихов и рассказов.

ХИТРЫЙ КАНТОРОВИЧ

Покупатель попался молодой и нахрапистый. Сумма, которую он предлагал Грише Канторовичу за просторный кирпичный дом почти в центре Харькова, была, в общем-то, смехотворной.

Район-де не престижный – полцены сбрось! Простенок трещину дал, углы, мол, перекладывать нужно – опять пополам раздели! До остановки трамвая далеко – минус ещё две тонны баксов. Стропилам уже лет восемьдесят, поди. Крыша на веранде протекает – скости ещё на три тыщи. Погреб сырой, тесный. В заборе дырок навалом. Калитку пальцем ткни – рассыплется. Беседка в саду покосилась. Яблони-сливы уж больно старые – корчевать придётся. Фрамуги на ладан дышат. Потолки низкие. Полы подгнившие. Плитка в ванной отваливается. Водопровод проржавел. Румынский секретер шашелем побило.

Покупатель Николай Семёнович Козельчук, конечно, немного сгушал краски, но хитрый Канторович не возмущался и во всём соглашался с Козельчуком.

Прямодушный Козельчук был доволен, как слон, когда ему, наконец, удалось убедить Канторовича, что принадлежащий Григорию Соломоновичу 12-комнатный кирпичный дом – вместе с мебелью, гаражом и фруктовым садом – стоит всего лишь полторы тонны баксов. Истинная цена такого домовладения была никак не меньше сорока тонн.

По имевшимся у Козельчука сведениям, Григорий Соломонович, отбывал через неделю за бугор – на постоянное место жительства. Времени на поиски других покупателей у Григория Соломоновича, вроде бы, не оставалось.

И вот – через три дня купчая оформлена..Не чувствующий подвоха Козельчук, в присутствии нотариуса Терехова Владимира Германовича, передаёт Канторовичу Григорию Соломоновичу полторы тысячи долларов США – в качестве оплаты за домовладение последнего. После чего трое мужчин даже распивают бутылку мартини, прихваченную на радости Козельчуком, и разъезжаются – чтобы никогда больше к этой теме не возвращаться.

После чего хитрый Канторович отбывает за бугор, прихватив с собой вырученные доллары, а заодно – и весь проданный дом вместе с гаражом, яблоневым садом, помойной ямой и даже куском прилегающей улицы.

Ибо лишь круглый идиот может поверить в то, что уезжающий за бугор человек не увезёт с собой, в сердце, дом, в котором родился и прожил почти всю свою жизнь.

УЗЕЛ ТОКА

Сiju в отделе. Разрабатываю электронную систему, своё очередное детище. «Узел тока» – такое название придумал я ему. Разрабатываю – значит изобретаю. Сочиняю.

Это – как стихи. Только стихи твои никому не нужны, а вот сочинённая (то есть, родившаяся в твоём воображении) схема воплотится через год-полтора в начинённую транзисторами лакированную плату и заставит дружно разгоняться семь пар рабочих валков, превращающих неуклюжий, пышущий жаром сляб в раскалённую стальную полосу, вылетающую из прокатного стана со скоростью пассажирского поезда.

Подобная схема изобретена уже давно. Но ты исполнен творческих сил и, в пик инженерам-предшественникам, изобретаешь свою, особенную схему, которая своим изяществом и совершенством, как пить дать, заткнёт за пояс все предыдущие!

В помещении, кроме тебя – ни души. Впрочем, почему – кроме тебя? Кроме меня, ни души! Это мой родной НИИТУЖПРОМ, моя родная комната № 202, в которой просидел я более двадцати пяти лет.

Заходит Пётр Тимофеевич Маликов – старый морской волк в засаленном флотском кителе, украшенном орденскими планками и сатиновыми нарукавниками. Бывший подводник, а ныне скромный проектно-конторский клерк, смутно представляющий, чем занимается институт, в котором приходится служить. Молчаливый соглядатай и вынюхиватель, постоянно стучащий начальству на всех отлынивающих, опаздывающих, инакомыслящих, инакокушающих, инакослушающих и инакокакающих.

Интересуется, где Света Слюсарева. Отвечаю: не знаю. Подводник

причаливает к её столу. Боковым зрением вижу: он выдвигает нижний ящик, вытаскивает лакированную Светину сумочку. Начинает бессовестно в ней рыться. Просматривает фотографии, старые письма...

И тут я не выдерживаю. Кричу благим матом (благим, ибо цели у меня – благие!): «Это что же вы, Пётр Тимофеевич, себе позволяете?! А ну-ка, прекратите! Это же просто бл...дство с вашей стороны! Просто бл...дство, мамашу вашу эскадронной скребницей!»

Вдруг понимаю: это всё. Мне крышка. Ведь вокруг только с виду – никого. А соседние-то комнаты – не пустые. А орал я так, что слышно на весь этаж. Теперь все будут знать, что Шмеркин матерится, да ещё как!

И очень мне обидно – в связи с тем, что все теперь знают, что я (зав группой, член межведомственной комиссии, руководитель авторского надзора, консультант по узловым автоматизации, молодой, здоровый, женатый на самой красивой в мире женщине!) матерюсь, как базарная торговка или уголовник какой. Очень неудобно я себя чувствую. Ах, если бы это – всего лишь сон!..

Просыпаюсь. Какой там, к дьяволу, институт?!

За окнами – Германия. Муниципальная квартира в «эрдгешоссе». Которую мне – больному, неприкаянному старику, дали ни за хрен собачий.

Ну, думаю, нет! Хрен с ним. Уж лучше пусть знают, что матерюсь...

* * *

Одиннадцать утра, в НИИТУЖПРОМ проветривание.

Бдительный ветерок прочёсывает производственные помещения, суёт свой любопытный нос в папки с деловой перепиской.

И только в предбаннике мужского туалета не продохнуть от табачного дыма.

В центре – Илюша Каршенбаум, вальяжный балагур из доменного отдела. Он развлекает курящую публику: «Вызывает Брежнев к себе Громыку и спрашивает: «А скажи, Андрюха, по-честному, ты товарища Хонекера когда-нибудь в спину...»

Внезапно – как неприятельская субмарина из океанских глубин – в курилке возникает злобный корпус отставного подводника.

Анекдот обрывается – подобно весёлой морзянке прогулочного катера, напоровшегося вдруг на невесту откуда взявшуюся мину. Подводник, не торопясь, достаёт из кармана брюк беломорину и, пылливо оглядывая присутствующих, занимает место в углу, рядом с плевательницей.

«Здравствуйте, Пётр Тимофеевич!» – как ни в чём не бывало, приветствует Маликова Каршенбаум.

Пётр Тимофеевич молчит, сосредоточенно раскуривая сырую (оче-

видно, намокшую в солёной океанской пучине) папиросу.

«Товарищ Маликов, здравствуйте!» – повторяет приветствие Илюша.

Морячок в нарукавниках снова прикидывается, что не слышит.

Каршенбаум ещё раз здоровается с вынохивателем.

«Здравствуйте, – отвечает ему, наконец, бывший подводник, виновато улыбаясь, – я плохо слышу».

«Если бы вы, Пётр Тимофеевич, плохо слышали, – выдаёт вдруг, со всей серьёзностью, Илья – вас бы тут не держали».

Курилка покатывается со смеху.

Илюшин анекдот не произвёл бы такого эффекта.

* * *

Из Караганды прибывает представитель заказчика – пожилой казах в пёстрой тюбетейке и плаще «болонья». Просит ускорить проектирование перевалочного стенда. Со всеми приветлив, улыбчив. Особенно – с Каршенбаумом, которого, по-видимому, принимает за своего. И называет не иначе, как «товарищ Каршенбаев».

* * *

Германия. Кобленц.. Банкет харьковчан в синагоге – по случаю Дня Освобождения Харькова от немецких захватчиков.

Бывший деятель искусств рассказывает землякам, что был близким другом какого-то Папачибина.

Увидев меня, кричит:

– Вы тоже должны знать Папачибина! Он тоже жил в Харькове!

Отвечаю, что не знаю никакого Папачибина.

– Как?! Неужели вы ничего не слышали о Папачибине? – сокрушается земляк.

– Нет – отвечаю. И чувствую, что краснею до кончиков ногтей.

– Ну, как же, как же? Вы обязательно должны знать Папачибина! Это же известнейший поэт!

– Может, Чичибабин? – интересуюсь я.

– Может и Чичибабин... А вы говорите – не знаю!

* * *

Копировщица Мария Яковлевна приходит к выводу, что у нас завелись мыши.

В ящике стола она обнаружила мышиный помёт. А Света Слюсарева, забывшая как-то в столе кусок сыра, нашла его заметно уменьшившимся, обточенным крохотными мышиными зубками.

«Интересно, где же наши мыши живут?» – интересуется Мария Яковлевна.

«Где у них спальня, я не знаю, – встревает заскочивший к нам в отдел Илюша Каршенбаум – но их столовая находится в столе у Слюсаревой, а в туалет, Мария Яковлевна, они бегают к вам».

* * *

В коридоре висит плакат: «ВСЕ НА ЛЕНИНСКИЙ СУББОТНИК!». Начальник отдела доводит до сведения подчинённых место сбора: «Значит, так. Ехать восьмым троллейбусом, до остановки Данилевская. Встречаемся в переулке...(мельком заглядывает в бумажку)...в переулке Анри Барбюса!»

* * *

Январь 1981-го. Научная конференция в актовом зале политехнического – на заре применения интегральных микросхем. Семинар по микропроцессорной технике. Доклад доктора наук Диденко. Все слушают, раскрыв рты.

Получаю записку от нашего лучшего электронщика Йоси Розова: «Гена, реши задачку: «У микропроцессора 40 ножек. Сколько у него жоп?»»

Заливаюсь идиотским хохотом – посреди зала, посреди зимы, посреди недоумевающих мэнээсов и наглядных фанерных пособий. Страшно неудобно – перед мэнээсами, перед пособиями. Перед Диденко, наконец.

А лучшему электронщику – хоть бы хны. Свалил себе в Израиль и работает вот уже пятнадцатый год каменщиком под Хайфой – как так и должно быть.

Йося! Если ты меня слышишь, – привет!

* * *

Начало рабочего дня. Иду из курилки к себе в отдел. Навстречу – Илья Каршенбаум. Машу ему рукой:

– Привет!

– Ну, здравствуй... – недоумённо отзывается шагающий впереди Илюши Ильдар Хусейнов, начальник оформительского отдела – партийный выдвиженец, придворный жополиз и юдофоб.

– А я не с тобой здороваюсь! – с радостью сообщаю я Ильдару.

* * *

Сажусь в троллейбус – через передние двери. Народу в троллейбусе – прилично. Вижу – на задней площадке, держась за поручень, стоит Хусейнов. Тот самый. Юдофоб.

Ну, думаю, отчего бы не поразвлечься?! Машу ему рукой и кричу через весь салон: «Здравствуйте, Соломон Израэлевич!» Все оборачиваются на Ильдара. Смотрят на него с гневом и осуждением.

Новоиспеченный Соломон вздрагивает, глаза наполняются ужасом.

И тут до меня доходит: жена права. Нужно срочно подавать заявление в ОВИР.



Родилась в Москве. Врач. В Германии с 1995 года.

Публикации в альманахах : «Светотень», «Ступени», « До и после».

„ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО“

Учу язык - чужой, но не враждебный...
Как будто кто заклятье наложил...
Как будто кто - приворожил,
Иль по статье провёл судебной!
Учу слова... И буквы... Предложения...
Ища ассоциаций связь и нить.
Как будто в день святого сотворенья
Я слышу „СЛОВО“... Значит - „БУДУ ЖИТЬ!“
И удивляюсь Мудрости ЕДИНОЙ,
И свечи ставлю ВСЕМ Богам;
Вокабулы... Катрены и Терцины:
Какое счастье быть понятным вам!
Какое счастье - душу раскрывая,
Уверенной остаться навсегда,
Что в каждом доме есть кусочек Рая!
И вместо „НЕТ“
ты будешь слышать --“ДА!“:

С О Н

Мне снился сон: - Замёрзшее окно
В каком-то светлом и высоком зале...
Снаружи - темень...А внутри - светло...
И слышен звук огромного рояля...

Вокруг - столпились школьницы...Все в белом...
Нарядном...Праздничном...И пели хором все...

И кто-то подошёл к окну, где я несмело
Прижалась к раме...Ёлка...Карусель...

И девочка, знакомая как будто,
Своим платочком помахала мне...
Где видела её? Но помню смутно,
Что точно видела! Иль в жизни? Иль во сне?

Потом она ладошкою растёрла
Ту изморозь, что разделяла нас...
И я узнале в девочке... Тут горло
Перехватило! -*“Мой девятый класс!
В моей, почти забытой, школе...
А кто же Я? И где же? И доколе?!”*

08.03.05.

Пушистый цыплёнок мимозы
На стыке Зимы и Весны...
Как острая тяжесть занозы...
Как зелень пахучей сосны...
Как острое напоминанье
Давно позабытых мимоз...
Как губ твоих нежных касанье...
Как век безответный вопрос!

З И М А

Снег буквально испарился
За последние три дня...
А так яростно валился,
Как спасался от огня!
Заполнял собой все щели,
Все ложбинки, все углы.
Будто прошлые метели
Отдавали нам долги...
И потешились детишки:
Снег - как сладкая вода!
От макушек до штанишек
Извальялись! Не беда...

ЕВГЕНИЙ ДЕНИСОВ



Родился в 1949 году в Душанбе. В Германии с 1990 года.

Публикации стихов: ж-л «Памир», Альманах «До и после».

Книга «Небольшая одиссея археолога-диссидента»

* * *

Забинтован в бульвары и улицы центр.
Площадь, стены Кремля – кровоточащей раной.
В чёрной «Волге» у ГУМа элегантную «kent»
Белокурый гэбист из нагрудного вынул кармана.

Это праздник сегодня, значит снова, в который уж раз,
Будем петь мы и пить, и смеяться, и плакать, как дети.
Нам прокладывать сотни неведомых трасс,
Нам вступать во владение третьим тысячелетьем.

А вокруг гнойниками Бутырка, Лефортово, Пресня, -
Звонких маршей аккорды в высоте проплывают над ними.
Нет на свете страны, громче чтоб первомайскими песнями,
Недоучки-вождя воспевала бескрылое имя.

Забинтован в бульвары и улицы центр.
Площадь, стены Кремля – кровоточащей раной.
В чёрной «Волге» у ГУМа элегантную «kent»
Белокурый гэбист из нагрудного вынул кармана.

Май 1982

ФЕВРАЛЬ В ПАРИЖЕ

Ведь солнце – на то и солнце,
Чтоб всё-таки возвращаться.
Из тёмного брюха зимы,
Из чёрной, длиннющей, как вечность,
Провисшей кишки декабря.

АПРЕЛЬ

Солнца тонкие нити
Зданий качают тени,
Синим дождём облиты
Лица, кусты сирени...
Синь без конца, без края
Легче, чем сон и ветер,
С ветром в поле играют
Кони, женщины, дети...

1965.

СВОБОДА И ЛЮБОВЬ

Свобода приходит нагая,
Свобода приходит с наганом,
Вонью и нищетой,
Придуманной волей чужой.

Ей снится сдобная булка
И докторская колбаса.
А ночью однажды урка
Выколет ей глаза.

Спать с нею будешь на нарах...
Пусть следом за нею – кара,
Но всё же она – Свобода
Хоть и не краше уroda...

Так же любовь приходит,
На месяцы – краткие годы,
Чтоб снова потом уйти...
Всё ж главное – быть в пути.

2006

ХЭНДЭ ХОХ!

...Утренним петухом пропела входная дверь. Приоткрывшийся правый глаз, фокусируясь, различил два тёмных силуэта в раме дверного проёма «Товарищи водоплавающие-е-е?» – обратился, видимо, к нам с Юркой, ближайший из них голосом Галины Петровны. «Да тут дышать нечем! Сплошной перегар! Какая тут пионерская работа!? Поважаете вы их, Галина Петровна...» - проканючил второй голосом медички. Под Юркой всхлипнула пружинами кровать. «Иваныч, это кто там?» – театрально запросил он. «Русалки...» – нашёлся я. «Нет, та, что позади, кажись, кикимора будет...» – на что второй силуэт тьфукнул и исчез за проёмную раму. «В общем так, гражданин Нептун и гражданин Водяной, – обратилась к нам окончательно сфокусированная Галина – за вчерашний, «нестандартно», с выдумкой проведённый День Нептуна – благодарность. А за «пивной переполох» на два соседних лагеря – выговор... (Один-один. Ничья, – вставил Юрка). Два дня в лагере будут санитарными: помывка и замена белья. Перед помывкой физрук закончит лагерную Олимпиаду. У вас двоих тоже санитарные дни. Никакой культурно-массовой импровизации. Отдых! Поняли!?» «Домашний арест?» – спросил я. «Нет, Слава, повторяю – санитарные дни. Выспитесь в конце-то концов! В любом спектакле бывает антракт... Поняли?! Я объявляю антракт! Утреннюю планёрку можете сегодня и завтра не посещать»

...Нам даже не пришлось сходить в столовую на завтрак. Пока мы вопроцедурились, у нас в комнате на бурых шершавых кухонных подносах появился стандартный пионерский завтрак: молочно-рисовая кашка, хлеб, сливочное масло, нарезанное неизвестным кухонным кубистом. Дюралевый чайник с аляпистым инвентарным номером «7» на боку мерно покуривал возле тумбочки... «Замуровали...», – подытожил Юрка... Мы включили магнитофон и молча принялись за завтрак. Юрка вытащил из-за тумбочки старую, в углах пожелтевшую, газету и в перерывах между поглощением очередной порции каши принялся вслух, с выражением, читать новостную колонку: «Битва за урожай... Слёт сельско-хозяйственников области... Летние пришкольные лагеря... Дружественный визит делегации вьетнамских рисоводов...» Мы переглянулись... «Делегация вьетнамских рисоводов посетила детский сад «Солнышко». Зарубежные гости с большой заинтересованностью ознакомились с детсадовскими буднями и вместе с питомцами передового районного детского сада даже отведали традиционный питательный молочный суп...» Мы опять переглянулись и... К концу

трапезы сценарий был почти готов. Итак, если мы отлучены от родных лагерных подмошков, то надо выезжать на гастроли! Даёшь выездной спектакль! На роль вьетнамских рисоводов, когда то с официальным визитом бороздивших районные просторы, мы в силу объективных физиологических причин, конечно же, не тянули, но образ Паниковского, в канотье набекрень и с гусем под мышкой, братски манил нас в ряды сынов известного лейтенанта...

...Мы начали, как нам казалось, с самого тяжёлого пункта плана, без успешного воплощения которого остальное было просто бессмысленным: у воспитателя второго отряда Валентины Стрелковской старшая сестра работала инструктором при третьем секретаре райкома партии, курируя всю идеологическую подноготную жителей района. На схожести голосов сестёр и базировался весь наш план. Валька, с видимым интересом и здоровым смехом, выслушала наши задумки, выразительно покрутила у виска указательным пальцем и наотрез отказалась сотрудничать с нами. Нам понадобилось всё наше красноречие, чтобы упросить её нам подыграть. Решающим фактором явилось то, что её сестра была в отпуске, и при нашем возможном фиаско, её отсутствие в районе и явилось бы её, так сказать, алиби... Жертвой был выбран пионерлагерь «Ветерок». Во-первых, мы знали начальника лагеря по имени-отчеству, а во-вторых, он находился в конце ущелья, и про нас там даже если и слышали, то в лицо ещё не знали. Звонили мы из дома дяди Абдеса, лагерного сторожа. Валька (ну молодчина!) великолепно сыграла свою роль. «Анна Григорьевна! Узнала? Так вот, дорогуша, давай приводи в порядок свой лагерь. Большое тебе поручение и большая честь одновременно! Высокий гость у нас в районе. Правнук Эрнста Тельмана. Да, да... Того самого... Решил он внепланово посетить места летнего отдыха пионеров. Выбрали мы вас для показа. Визит неофициальный. С ним никого из начальства не будет. Он сам так попросил... Только ка-гэ-бэшник на охране и переводчик. За транспорт не беспокойтесь. Тут у нас автобус из «Золотого Ключика» в центре, вот он к вам гостя и привезёт, и увезёт... Встречайте со всей душой, и чтоб комар носа!.. Поняла? Ну, не мне тебя учить! Давай действуй, Григорьевна! Не подведи!»... «Побьют вас, ребята», – вздохнула Валька отсмеявшись, – «ей Богу, побьют». «Подумай, что говоришь!», – осёк её Юрка, – «да ещё в присутствии правнука вождя немецкого пролетариата! Постеснялась бы, товарищ воспитатель!..»

...Мы продолжали воплощать нашу идею в действительность. В первом отряде у отдыхающего Эрика Исламова, сына начальника Чимкентского Авиа-отряда, были на время позаимствованы фирменные шорты, футболка и кроссовки. У сына дяди Абдеса – свадебный костюм, белая рубашка и галстук, в которых Юрка – таки и стал, хотя и немного карикатурно, походить на гэ-бэшника-телохранителя. Галина Петровна

с интересом и удивлением наблюдала за нашими перебежками по территории лагеря и, в конце-концов, видимо, измучившись предположениями и подозрениями, пришла к нам в комнату и спросила, не замыслиаем ли мы чего? «Ну вам не угодись, Галина Петровна... Веселишь лагерь – вам плохо. Не веселишь – опять не в тему. Определитесь, наконец, какой вы видите воспитательную составляющую нашего лагеря. А у нас пока санитарные, критические дни... Месячные, пионерскому...»

Когда всё уже, казалось, было подготовлено, мы упёрлись в серьёзнейшую проблему – Переводчик... Юрка наотрез отказался работать на две ставки. Мол, вот если бы «по фене»... Я тоже не рискнул говорить по-русски с немецким акцентом. Терялась некая социалистическая реалистичность... Помогла опять Валька. В её отряде стажёркой работала Лена Вайс, десятиклассница из Мичурино. В посёлке этом проживало большое количество немцев – (сталинских) переселенцев. Так вот, Ленкин немецкий экстерьер и, самое главное, наследственное знание языка и были отсутствующим необходимым. Ленка даже не поняла сначала, шутим мы или нет. Когда до неё дошло, что эта шутка действительно всерьёз, она замахала руками и, в конце концов, даже чуть не расплакалась, пытаясь прекратить нашу перекрёстную атаку... Вот тут-то Валька и помогла её уговорить, мол, да расслабься ты! Это же, как игра! В том смысле что – жизнь! Что про лето потом вспомнишь? Стажёрство для анкеты?! Да побудь хоть раз в жизни переводчицей правнука Эрнста Тельмана! Я до сих пор удивляюсь, как она согласилась. Но, видимо, бывают в жизни такие «переломы», когда... Ну, об этом немного позже.. Так вот, после полдника вся наша импровизированная Тельман-пионерская делегация украдкой проскользнула в отъезжающий от столовой «ПАЗ-ик» и принялась наскоро костюмироваться. Юрка нехотя затянул на шее галстук. Лена, мандражируя, просила меня не говорить длинные фразы. «Да ты переводи, как знаешь», – успокаивал я её, – «импровизируй! Главное – без пауз!». Перед последним поворотом к «Ветерку» Петрович остановил автобус, кряхтя, достал откуда-то из под своего сиденья бутылку портвейна и вечно дежурный по автобусу стакан. Выпил правнук Тельмана... Выпил его телохранитель... Неумело и обречённо отхлебнула от стакана переводчица... Юрка хрустнул свежим огурцом... Под повизгивание колёс автобуса, уносящего хохочущего Петровича, мы прошагали несколько метров до поворота к арке «Ветерка»... То, что мы увидели за поворотом, обрушилось на нас всей масштабностью нами совершённого: под аркой стояло всё лагерное начальство в парадных костюмах, далеко не летнего покроя. Одета в казахский костюм дородная русская девица держала на полотенце с белорусскими узорами узбекскую лепёшку, а позади этого сюрреалистичного коллажа, очень

напоминающего фигурки для стрельбы в тире, вдоль лагерной аллеи выстроилась красногалстучная «ветерковская» дружина. Пионеров с полтысячи, не меньше... «Ой, мамочка!...», – застонала Ленка. «А ну-ка, цыц! Не скисать!...» – сквозь зубы шикнул Юрка, на ходу одевая чёрные очки, – «арбайтен ибн арбайтен!!» «Вячеслав Иванович? Как вас зовут-то?», – обратилась ко мне стажёрка. «Ты чё, с глотка портвейна «улетела» уже?» – ещё раз прикрикнул на неё мой телохранитель. «Да нет же! Как ваше имя? Надо ж представить вас!...». «Лена, Рудольф – я. Запомни – Рудольф. А лучше, просто Руди. Руди Тельман... Правнук. Запомнила, Лена? Пра-а-авнук...» Но тут началось такое. Нас, не спрашивая ни имён, ни фамилий, ни национальностей, сначала подтолкнули к узбекской лепёшке. Краснощёкая русская казашка расцеловала меня, тараня необъятным бюстом седьмого калибра. Людская волна приподняла и понесла нас сквозь пионерский строй, выкрикивающий речёвки и нестройное немецкое «Guten Tag!». Нам показали пионерскую комнату, отрядные места, бассейн, рисунки мелками на асфальте, посвящённые дружбе немецкого и советского народов, поведали о средне-статистической прибавке в весе за сезон отдыхающих в пионерлагере, провели по Аллее Пионеров-Героев... Никто не обращал внимания на переводчицу и её работу. Все, видимо, забыть-позабыли, что Руди Тельман, вроде как даже и немец, Юрка же, наоборот, приобрёл свою «охраняющую» значимость, живым волнорезом рассекая потоки устремляющихся к нам людей, и при этом постоянно поправляя сдвигающийся в бок галстук... Неожиданно заголосили горны и загремели барабаны. Нас пригласили на торжественную линейку, посвящённую (как объявили по селектору) визиту правнука Эрнста Тельмана в самый лучший в области пионерский лагерь. Мы вышли на линейку. Отряды начали перекличку. Речёвка. Отрядная песня. Смирно. Рапорт. Вольно... Рапорт старшего вожатого... Переводчица шептала мне мне на ухо свою сюр-интерпретацию пионерских заклинаний.. Настал черёд приветственного слова начальника лагеря. Анна Григорьевна с явной гордостью обратилась к дружине:

«Ребята! Сегодня у нас в лагере большой праздник. У нас в гостях, прямо из самой Германии! Из самого города Берлина!! Правнук великого человека! Вождя немецкого пролетариата Эрнста Тельмана! – Товарищ Руди! Руди Тельман!! Поприветствуем его, ребята!!!» Когда смолкли апплодисменты, я шагнул вперёд к микрофону. Обвёл взглядом замершие отрядные колонны. Полтысячи пар ребячьих глаз сошлись на мне.. Линейка затаила дыхание... Театральность происходящего произвольно натолкнула меня на мысль прочитать что-нибудь рифмованное, объединяющее, завораживающее... «Может «Лорелей»?» – мелькнуло у меня в голове немецкое стихотворение школьной и институтской программ. И тут вдруг, как то само-собой, не знаю почему, я начал гётев-

ский монолог Фауста: *Я философию постиг, я стал юристом, стал врачом...*

Увы! с усердьем и трудом и в богословье я проник, — И не умней я стал в конце концов.

Чтобы завуалировать рифму, мне пришлось на ходу изменить ритм стихотворения под прозу. Остановившись, я посмотрел на Ленку. «Переборшил...» - мелькнуло у меня. И тут вдруг Ленка ожила! И случилась её звёздная минута! Гордо вскинув голову вверх она пафосно выдала: «Здравствуй, красногалстучная Советская Пионерия! Передаю тебе горячий дружеский привет от ваших германских сверстников, пионеров-тельмановцев!!»... «Во даёт!»— удивился я и, интонационно подыгрывая ей, продолжил Фауста. А Ленку «несло»... С каждой фразой её импровизация наращивалась. Она выдавала такие перлы, так увлеклась, что количество перевода уже не совпадало с произнесённым мною немецким оригиналом. Даже «народный артист» лагерей Юрка ошарашенно косился на неё... И я решил, что пора заканчивать, пока мы не «спалились»... Ещё раз поприветствовав отдыхающих детей и лагерный персонал, я вскинул руку в пионерском салюте и прокричал девиз пионеров: «Junge Pioniere! Zum Kampf der Kommunistischen Partei der Sowjetunion... (Юные пионеры! К борьбе за дело Коммунистической Партии Советского Союза...). И тут у меня вместо положенного Seit bereit! (Будьте готовы!) вдруг сорвалось неожиданное «Hande Hoch!» (ХЭНДЭ ХОХ! — Руки вверх!)... «Всегда готовы!» — рявкнула в ответ лагерная дружина. Пионерки старших отрядов под барабанную дробь повязали мне на шею почётный красный галстук. Ко мне бросились октябрята с цветами. Зазвучал пионерский марш и эхо строевых команд. Отряды развернулись и с дружинной песней двинулись на выход с линейки. Проходя мимо, они как солдаты на военных парадах, разом поворачивали головы в нашу сторону и... улыбались. Я посмотрел на Ленку. В её глазах стояли слёзы. И тут даже я сам поверил в то, что я — Руди Тельман, правнук немецкого пролетарского вождя....

...А потом был концерт лагерных дарований. Первым номером программы пионер третьего отряда декламировал «Лорелай». Я с облегчением вздохнул тому, что не это стихотворение начал читать на линейке... А потом нас повели в столовую, где был накрыт праздничный стол, и кухарботницы встречали нас белоснежными фартуками и косметическим экспрессионизмом на лицах... Пили, в основном, за дружбу и какое-то там братство... Тут уже и мой «телохранитель-гэбэшник» расслабился. После очередной выпитой рюмки Юрка щипал проходящих мимо кухарок за попки и удачно шутил.... Галстук он перестал поправлять уже после первого тоста....

...Провожали нас всем персоналом и пионерами старших отрядов. Автобус уже стоял у въезда в лагерь... На прощанье все фотографировались

с «товарищем Руди» у лагерной арки. И вместе, и небольшими группами... Кухработницы передали Юрке две авоськи со свёртками, формы которых кричали об их содержании... Мы сели в автобус. Последнее, что я запомнил, – это провожающие «ветерковцы», сбившиеся в дружную стайку, машущие нам на прощание руками... Я посмотрел на Лену и опять увидел слёзы в её глазах. И счастливую улыбку... И мне вдруг захотелось сказать ей что-нибудь простое и доброе... На немецком...

...«Не косись, Иваныч», – бросил мне Юрка, распаковывая содержимое авоськи. «Это не лично мне, а моему Особому Отделу Правительственной Охраны от работников кастрюль и сковородок. От чистого, так сказать, сердца. Не мог я женщинам отказать...». Он откупорил бутылку коньяка, взял у Петровича стакан, налил мне, выпил сам и протянул стакан Лене. «Давай, переводчица! Ну, ты дала сегодня! Тала-а-антише! Далеко пойдёшь».

....Конечно же, Петрович не смог удержать про себя всю эту историю больше одного дня. На следующее утро после завтрака нас вызвали к Галине Петровне. «Ну, рассказывайте», – запросила она. «А что рассказывать-то?», – удивились мы. «Правду», – отрезала Галина. «А есть ли она, правда, Галина Петро...». «Ну, хватит, Слава. Я уже звонила Анне Григорьевне в «Ветерок». Она мне похвасталась, какой «высокий гость» посетил её образцово-показательный лагерь. Всю программу визита живописала. Это ж надо до такого додуматься! У меня ну просто слов нет. Ведь вам все поверили! И дети, и взрослые! И я не сказала ей правду... Не смогла. Партийный грех на душу взяла... Артисты? Не-е-ет... Охламоны порядочные – вот вы кто!». «Ну, хоть спасибо за «порядочные», – нашёлся Юрка, – «да и зачем разочаровывать-то людей?! А может, у многих наш приезд на всю жизнь ярким событием в памяти запечатлеется? И фотографии будут внукам показывать. Не прерываемая связь поколений!...» «Ну, хватит паясничать! В общем так, за арку до конца сезона ни ногой! Идите!» Мы направились к выходу. «Ребята?» – вдруг услышали мы совершенно другой голос начальника лагеря, – «Ну-ка, постойте. Садитесь. Давайте-ка, расскажите, как там всё это было? А? По-правдашнему...» И мы начали свой рассказ, соревнуясь в том, чей пассаж заставит Галину Петровну улыбаться дольше...

* * *

А ведь Юрка-то был прав, говоря, что наше представление в «Ветерке» может оказаться памятным событием для кого-нибудь из его участников...

Десять лет спустя довелось мне сопровождать своего немецкого шефа и группу центрально-азиатских журналистов на Международный Форум Свободной Прессы в Москву. В конце последнего дня пленарных заседаний во время заключительного фуршета мы общались с рос-

сийской полит - и медиа - элитой в кафе-холле конференц зала. И вдруг ко мне обратились по имени и отчеству. Я обернулся и увидел молодую женщину. Что-то знакомое... Глаза? Улыбка? «Не помните?» – и тут она дерзко взметнула руку в пионерском салюте и отчеканила: «В борьбе за дело Коммунистической Партии Советского Союза – ХЭНДЭ ХОХ!» Ленка!! На нас обернулись все рядом стоящие. «Вы как тут оказались?» «Да вот, с журналистами из Центральной Азии. По немецкой линии. А ты?». «А я с немецкими журналистами. На переводе...» Мы расхохотались. Я представил Ленку своему шефу как правнучку Эрнста Тельмана. «Того самого?» – удивился мой работодатель. Я кивнул. «Живёт здесь? Почему?...» «Das Schicksal...('Судьба...')», – просто ответил я. Шеф с серьёзным видом понимающе кивнул головой... Ленка начала что-то импровизировать по-немецки, но тут её позвали на выезд. «А вы знаете, почему я сейчас здесь?», – обратилась она ко мне. «Я ведь после того самого лагерного сезона решила – стану переводчицей! Вот так вот... Das Schicksal... Так что, спасибо вам и Юрию Александровичу... Я вас всегда помню...»

В присутствии наших подопечных мы профессионально пожали друг другу руки, и она заспешила на выход... Задержалась. Обернулась: «Вячеслав Иванович, а я бы с вами с удовольствием портвейн выпила, и мы б такое здесь устроили!...» Она, улыбнувшись и блеснув глазами, махнула мне на прощанье рукой. И мне захотелось сказать ей вдогонку что-нибудь простое и доброе... На русском...

ПУБЛИЦИСТИКА ЭССЕИСТИКА



КАРЛ АБРАГАМ

Родился 17.04. 1930 года в Берлине. Жил до 1991года в СССР и тогда же возвратился в Берлин. Врач. Публикации в журналах и альманахах: «Донбасс», «Радуга», «До и после».

Книги: «Два часа и вся жизнь», «Возвращение», «Этюды на еврейские темы».



НЕМЕЦКИЕ ЕВРЕИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Как немец я пошёл на войну, чтобы
защитить своё отечество, как еврей,-
чтобы добиться полного равноправия
моих собратьев по вере.

*Из завещания лейтенант-резервиста
Йосифа Цюрндорфера(1886-1915)**

Ко времени прихода Гитлера к власти наша семья жила в Берлине. Отец мой, Артур Абрагам, работал врачом противотуберкулёзного диспансера Нойкёльна. В конце июня 1933 года он получил уведомление за подписью бургомистра окружного ведомства, в котором сообщалось:

На основании § 3 закона о восстановлении профессионального чиновничества от 7 апреля 1933 года предлагаю врача социального обеспечения доктора Артура Абрагама отправить в отставку. Основание: доктор Абрагам родился в Нью-Йорке, имеет гражданство Земли Гессен и не является лицом арийского происхождения. Доктор Абрагам женат и имеет сына в возрасте 3 лет. Он не участвовал в Мировой войне и не является сыном погибшего на войне. Упомянутые в §3 исключения на него не распространяются...

Неоднократно перечитывая этот документ, я не раз задумывался,

* Йосиф Цюрндорфер – участник Первой Мировой войны. За личную храбрость награждён многими орденами и медалями, в том числе Железным Крестом I и II ст.

а что было бы с нашей семьёй, если бы мой отец или дед оказались участниками Мировой войны. И какова судьба лиц «неарийского происхождения», принимавших участие в той войне. Много ли их было? Как они воевали? Сохранилась ли хоть какая-то память о евреях, павших в Первой Мировой войне?

Случайно услышанное недавно сообщение о смерти в Шотландии последнего участника Первой Мировой войны опрокинуло все мои представления о времени: оказывается, всё это было совсем недавно, ведь свидетель тех событий умер только вчера. Факт смерти старого ветерана подтолкнул меня ещё раз перелистать «Историю Первой Мировой войны» и задержать свой взгляд на одной из её страниц, посвящённой участию в этой войне немецких евреев.

Война оказалась Мировой. Она охватила всю планету и, прежде всего, Европу. Было уже неважно «кто первый начал». Речь шла о переделе сфер влияния. Повод нашёлся. Наследный принц австрийского престола не мог себе, конечно, представить, что он ценою своей жизни попадёт в учебники истории. Как бы то ни было, в Германии началась всеобщая мобилизация. На пункты сбора хлынули тысячи добровольцев: христиане и иудеи, рабочие и крестьяне, студенты и школьники, мужчины различных профессий. Каждый пришёл, чтобы защитить свой очаг, свой земельный надел, свою работу, свою семью, свою родину.

В первый же день войны на призывной участок явился самый пожилой немецкий доброволец, еврей по происхождению, 68-летний генерал Вальтер фон Мосснер. История производства еврея в генералы такова. Известно, что в старой прусской армии еврей не мог стать офицером. Таков был неписанный закон. Небезынтересно, что Мосснер был сыном известного берлинского банкира, который в своё время оказал королю Пруссии колоссальную услугу: во время революции 1848 года он помог будущему кайзеру бежать в Англию, снабдив его деньгами и предоставив свой конный экипаж. Сын старого банкира служил простым солдатом в боннском королевском гусарском полку. Он был прекрасным наездником, хорошим товарищем, всеобщим любимцем, умён, спортивен, хорошо сложен – этаким бравый кавалерист с картинки. Однако дорога в офицерство ему была заказана, по одной лишь причине: он – еврей. Памятуя об услуге старика Мосснера, кайзер Вильгельм I решил выяснить, почему офицеры полка противятся приёму Мосснера в свои ряды. Только после этого он был произведен в офицеры. Во время войны 1870/71 гг. он участвует в боях в звании лейтенанта. Впоследствии становится майором, полковником, флигельадъютаном кайзера и, наконец, командиром дивизии. Ему присваивают дворянский титул и назначают начальником военной крепости Страсбург. В 1912 году он вышел на пенсию. Генерал Вальтер фон Мосснер прошёл всю Мировую войну

и только в ноябре 1918 года сменил военный мундир на гражданский костюм. Он умер в апреле 1932 года в возрасте 86 лет, не дожив нескольких месяцев до прихода Гитлера к власти.

Самым молодым немецким добровольцем оказался тринадцатилетний еврей Йосиф Циппес, который в 1918 году сумел каким-то образом проникнуть в ряды новобранцев и попасть на фронт. Через два месяца он подорвался на mine и остался без обеих ног.

Насколько велико было стремление немцев защитить свою страну, свидетельствует следующий факт: некто Артур Хазанович, студент технического университета Берлина, русский еврей по происхождению, в первые же дни войны обратился в призывную комиссию с просьбой зачислить его в пехотные части. Медицинская комиссия, обнаружив у него заболевание сердца, отказала ему в этом. Хазанович не успокоился и обратился в клинику Шарите, где диагноз после углублённого обследования был снят. Вначале он служит в пехоте в районе Альт-Глинке и очень скоро поступает в школу лётчиков, по окончании которой прикомандировывается в качестве пилота к артиллерийскому училищу в Ютеборге. 26 сентября самолёт Хазановича потерпел катастрофу. Прах лётчика похоронен на еврейском кладбище Вайсензее.

С 1914 по 1918 гг. в рядах немецкой армии сражалось 96 000 евреев. Много это или мало? К началу войны на территории Германии проживало около 550 000 тысяч евреев, включая мужчин, женщин и детей. Если считать, что в каждой семье было не по одному ребёнку, а как минимум по два, то окажется, что большая часть мужчин евреев была призвана в армию. 10 000 из них записалось добровольцами, 2000 было произведено в офицеры и 19 000 – в унтер-офицеры. Из 96 тыс. военнослужащих евреев погибло или пропало без вести 12 000, т.е. каждый восьмой. 35 000 немецких солдат и офицеров, исповедовавших иудаизм, были отмечены орденами и медалями.

К числу добровольцев следует отнести около 30 раввинов, в обязанности которых входило богослужение, в том числе и для военнопленных евреев, посещение раненых в госпиталях, участие в похоронах и распределение религиозной литературы. По согласованию с командованием раввины могли оказывать помощь еврейскому населению в районе военных действий на Восточном фронте. Раввин мог иметь в своём распоряжении повозку, двух лошадей, достаточное количество фуража, ездового, бесплатное питание и право на расквартирование. Нельзя сказать, чтобы служба раввинов была лёгкой. Трудности возникали в связи с принятием евреями воинской присяги, с соблюдением ими еврейских традиций, с предоставлением отпусков по еврейским праздникам, с особенностями питания евреев и т.п. Чтобы разрешить некоторые из этих проблем, правление объединения ортодоксальных евреев Германии обратилось в военное министерство за разъяснени-

ем. Военный министр, подробно ознакомившись с этим документом, по пунктам, в очень корректной форме ответил на запрос правления следующим образом:

1. Министр не может разрешить доставку в солдатскую столовую кошерной пищи, приготовленной по еврейским религиозным традициям. Однако, он не возражает, если солдаты еврейского вероисповедания будут питаться отдельно от остальных.

2. Предоставление отпусков по праздничным и субботным дням он оставляет на усмотрение командования.

3. В интересах службы министр не может освободить евреев по субботам от стрельбы на поле боя, но он просит командование по возможности не привлекать евреев по субботам к учебным стрельбам.

Несмотря на все эти ограничения, раввинам удавалось в ряде случаев отмечать с солдатами еврейские праздники либо ходатайствовать о предоставлении отпусков евреям. Вот только два коротких сообщения из газеты «Im Deutschen Reich».

Первая заметка, датированная 1914 годом, о праздновании Йом Кипура евреями одной из воинских частей действующей армии. «Те, кто не был на передовой в этот день, собрались и пошли под руководством еврейского офицера в ближайший городок. Так как в северной Франции не было синагог, то богослужение провели в одной из католических церквей. Многие солдаты до этого постились. Полевая кухня обеспечила нас праздничным обедом. Проповеди читались дважды: до и после обеда. Евреи, воевавшие на Восточном фронте, получали увольнительные и отмечали праздник с местными жителями».

Во второй заметке рассказывается о том, как на Западном фронте в 1916 году отмечали еврейскую пасху. «Мы отправились в город Б., где в местной ратуше уже был накрыт стол на 60 персон. Мацу и вино доставили из Франкфурта. Читали отрывки из Торы. Людей пришло больше, чем ожидалось. Пришлось некоторым есть из одной тарелки. Но это никого не смутило. Главное, мы были вместе. Ночь мы провели на трёхъярусных нарах, на которые была постлана свежая солома. Укрылись мы тёплыми одеялами. На другой день праздник продолжился. Мы пели еврейские песни».

Нет нужды останавливаться на подробностях той войны. Напомним лишь, что Германии и их союзникам противостояли силы Антанты. «Успехи» имели место и с той, и с другой стороны. С конца 1914 года война приняла позиционный характер и продолжалась после этого больше трёх лет. Сохранились письма еврейских военнослужащих, повествующих об особенностях окопной войны. Вот одно из них. Пишет Йоахим Бойтлер:

«Пять дней как не подвозят горячую пищу. Жажда нестерпимая. Несколько дней льёт проливной дождь. Кругом топкая грязь, сапоги

сползают, шагаешь босой по этому болоту, иногда проваливаешься по пояс. Подштанники и брюки покрыты коркой грязи. Летят гранаты, шрапнель, рвутся мины, от которых людей подбрасывает вверх либо засыпает землёй. Окопы перепаханы и напоминают картофельное поле. Всюду убитые, раненые, корчащиеся в предсмертных судорогах лошади. Добавьте к этому аэростаты и около 15-ти постоянно находящихся в воздухе самолётов, которые с удивительной точностью расстреливают нас. Французы ежедневно предпринимают попытки атаковать. В ход идут гранаты и пулемёты. И жизнь наша тогда превращается в ад. Но вы обо мне не беспокойтесь. Меня беда пока что обходит стороной. Выручает солдатская дружба».

А вот короткая выдержка из другого, не столь трагичного письма: «В расположении нашей части удивительно красиво. Чистейший воздух и абсолютная тишина. Временами эта идиллия прерывается артиллерийским обстрелом леса, что в аккурат за нашим блиндажом. Единственное, что выводит меня из себя – это крысы, которые не дают покоя ни днём ни ночью. Эти твари доводят меня до отчаяния».

Тяготы фронтовых будней, смерть боевых товарищей, неизвестность, сколько эта война ещё продлится, будет ли ей вообще конец или это навсегда, для солдат евреев дополнялись ещё и проявлениями дремучего антисемитизма, который исходил, главным образом, от офицеров.

Вот некоторые выдержки из дневниковых записей солдата Юлиуса Маркса:

«1 декабря 1914 года. Линк опять напился и придирается ко всем. Это нельзя выдержать. Люди раздражены. Служба, и без того становится невыносимой. Недавно он опять поносил евреев. Я решил обратиться с жалобой к командиру батальона и просил отправить меня на передовую. «А вы что думаете, на передовой лучше? Мой вам добрый совет: делайте вид, что это вас не касается».

«12 мая 1916 года. После обеда мы занимались учебным гранатометанием. Среди нас был один новобранец, который прежде в руках гранату никогда не держал. Руки его немного дрожали. Старший лейтенант начал над ним издеваться: «Шварценберг, еврейчик стало быть? Посмотрите, как он дрожит. Трус несчастный! Но это даже хорошо, пусть другие сами убедятся сколь трусливы эти суки-евреи». Я поправил старшего лейтенанта, сказав, что Шварценберг вовсе не еврей».

Лейтенант запаса Фриц Майер писал родителям незадолго до своей гибели: «Сегодня, сильнее, чем когда-либо, пылает в нас любовь к отечеству. К сожалению, бесчестные голоса клеветников на родине никак не уgomонятся. Но это не лишает нас мужества, хотя всё это очень печально. Чего они ещё добиваются, или им мало нашей крови? Или они хотят на пролитой крови моих соплеменников выстроить свою расовую

теорию? Вражеские пули, слава Богу, не ведают разницы между людьми разных вероисповеданий».

Во времена нацизма преследование евреев было возведено в ранг государственной политики фашистской Германии. Но Гитлер не был первооткрывателем. У него, оказывается, были предшественники. Вместо того, чтобы в зародыше душить проявление бытового антисемитизма в действующей армии, правительство занялось переписью евреев. И всё это с подачи депутата Рейхстага Вернера Гиссена, обратившегося 17 июня 1916 года к тогдашнему военному министру с запросом: сколько евреев находится непосредственно на фронте, сколько в тыловых и интендантских частях, сколько в управлении гарнизонов и, наконец, сколько евреев комиссовано и признано негодными к военной службе? Средства массовой информации распространяли всевозможные небывальицы о трусости евреев, об их предательстве, об их неумении и нежелании воевать. Многочисленные газеты поместили на своих страницах стихотворение «Еврей в Мировой войне», автор которого пожелал остаться неизвестным. Вот только короткий отрывок из него:

Сегодня можно увидеть часто
Людей этой очень хитрой масти.
В кафе, театрах, в купе поездов
Есть дело для их огромных носов.
Ухмылка их и прищур, и ропот –
Всюду они, только не в окопах.

Нутро их лезет прямо наружу
Евреи «желтой отравы»* хуже.
Ухмылка их и прищур, и ропот,-
Всюду они, только не в окопах.

На той войне, в принципе, не было ни победителей, ни побеждённых. Восточный фронт развалился сам по себе, и Германия заключила выгодный для себя Брестский мир. На Западном фронте немецкие войска, несмотря на целый ряд неудач, продолжали удерживать позиции не на своей, а на чужой территории. И тут «вдруг» немецкое военное командование решило заключить перемирие со странами Антанты, посчитав дальнейшее ведение войны нецелесообразным. Последовавший за тем Версальский договор (1919) оказался столь унижительным для Германии, что многие политики усмотрели в нём угрозу для будущей Европы. Известный экономист, в будущем министр иностранных дел Веймарской республики, Вальтер Ратенау заклинал немецкое правительство занять на переговорах более жёсткую позицию. Тогдашний

* «Желтая отрав» – боевые отравляющие вещества

рейхсканцлер, принц Макс фон Баден, охарактеризовал обращение Ратенау как «рвущий душу крик большого патриота». Гамбургский банкир Макс Варбург, член немецкой делегации на переговорах о перемирии, обратился к рейхсканцлеру со следующими словами: «Несмотря на то, что мой единственный сын через четыре недели может оказаться в окопах, я настойчиво прошу вас не соглашаться на перемирие, по крайней мере, сейчас». Но к голосам этих людей никто не прислушался. По одной лишь причине: они – евреи. Поверженная Германия приняла все условия Версальского договора, который ещё долгие годы сидел занозой в сознании немецкого народа.

В начале 1919 года был создан Имперский союз фронтовиков-евреев со своим печатным органом, журналом «Щит». В задачу союза входило возведение памятников и уход за могилами павших на войне евреев, забота о здоровье ветеранов, их материальная поддержка, забота о вдовах и детях погибших солдат, особенно о сиротах, а также социальная защита участников войны. Однако, главная задача союза состояла в том, чтобы правдиво информировать людей о действительном участии евреев в Мировой войне, ибо средства массовой информации либо замалчивали, либо преуменьшали заслуги евреев в военных действиях. Цифра погибших откровенно занижалась. Огромная заслуга союза фронтовиков-евреев и его президиума во главе с доктором Лео Левенштейном заключалась в том, что им удалось издать уникальный по своему значению документ, в котором приводятся имена и фамилии с указанием даты и места рождения всех 12 000 погибших на войне евреев. 4 ноября 1939 года гестапо распустило Имперский Союз фронтовиков-евреев; всё его состояние, оцененное в 17,7 миллионов рейхсмарок, было конфисковано.

Какова судьба солдат евреев – участников Мировой войны после прихода Гитлера к власти? Вот только два примера:

Макс Вальдман родился в Майнце в 1898 года. В 18 лет ушёл добровольцем на фронт, через два года получил ранение в голову, вследствие чего у него развилась односторонняя глухота и слепота на левый глаз. За мужество и личную храбрость, проявленную в боях, унтерофицер Вальдман награждён Железным Крестом II степени и многими медалями. После войны он решил продолжить семейные традиции и посвящает себя торговле. Он открывает в Майнце и Висбадене целый ряд обувных магазинов. Участие Вальдмана в Мировой войне, многочисленные награды, тяжёлое ранение не избавили его, как и десятки тысяч других евреев, бывших фронтовиков, от нацистских преследований. В 1935 году эсэсовцы вынудили Вальдмана закрыть своё предприятие. В 1939 году он женится на племяннице Йосифа Цюрндорфера, а ещё через год у них родился сын. В выборе имени для своего ребёнка родители не были вольны: ЗАГС предписывал дать ребёнку только ев-

рейское имя. Мальчика назвали Йона. В 1939 году Вальдман с женой собирались эмигрировать в США, однако американское консульство отказало им в этом со следующей формулировкой: «В связи с тем, что М. Вальдман во время Мировой войны сражался на стороне Германии, то пусть Германия и заботится о нём». В 1939 г. в паспорте ветерана рядом с его именем и фамилией появилось дополнительное имя Израэль, а у его жены Рут имя Сара (нововведение нацистов, коснувшееся всех евреев рейха). С 1940 года Макс Вальдман отбывает трудовую повинность на одном из заводов оборонного значения. С 1941 года он и его жена стали носить по распоряжению властей жёлтую шестиконечную нашивку с надписью Jude. Во время работы на заводе он часто болеет (сказываются старые фронтовые ранения), и в феврале 1942 года его по состоянию здоровья комиссуют. Скоро он обретает профессию парикмахера «с правом обслуживания только евреев».

В сентябре 1941 года у него все награды отняли, а в феврале 1943 депортировали с женой и трёхлетним ребёнком в Терезиенштат. Этот концентрационный лагерь считался «образцовым». Сюда могли приехать чены дипломатического корпуса и служащие Красного Креста. В нём не было газовых камер. Однако смертность в этом концлагере была исключительно высокой: от истощения и болезней здесь ежедневно умирало в среднем 127 узников. Благодаря тому, что Мак спадает в рабочую команду, а его жена на кухню, семье Вальдмана удалось выжить. После освобождения Вальдман с семьёй возвращается в Майнц, где вновь открывает обувной магазин. Ветеран Первой Мировой войны умер сравнительно молодым, шестидесяти двух лет от роду, его жена Рут пережила его намного, а сын Йона умер в 1980 году от последствий заболеваний, приобретенных в концлагере.

А вот ещё одна довольно типичная история.

В 1908 году, в Кройцберге, по ул. Hasenheide 54 поселился доктор Юлиус Шёпс с семьёй. С началом Мировой войны он возглавил военный лазарет в Берлине. Позднее его назначают начальником санитарной части на прусско-польскую границу. Войну Шёпс закончил в звании майора медицинской службы. До 1920 года он оставался начальником полевого госпиталя в Мариендорфе, в котором долечивались тяжело раненные инвалиды войны. После демобилизации Шёпс продолжает работать домашним врачом. Он пользовался среди больных огромным авторитетом, прекрасно разбирался в вопросах внутренней медицины и в смежных науках. При необходимости мог принять роды. К нему шли, чтобы просто поверить свои тайны, посоветоваться в сложных житейских ситуациях. И вот в один день всё это рухнуло: коричневая зараза растеклась тёмным пятном по всей Германии. У доктора Шёпса всё отняли. Он уже не мог называть себя врачом, а только «Krankenbehandler», т.е. «обслуживающим больного». Свою практику доктор закрыл. Как

и у остальных евреев, у него в паспорте появилась соответствующая отметка, а на одежде шестиконечная звезда. Эмигрировать он не захотел: «Я ничего плохого не совершил, чтобы покинуть своё отечество». Позднее он уже готов был расстаться со своей родиной (сын помог ему «выбить» шведскую визу), но было поздно: 23 октября 1941 года нацисты объявили о прекращении эмиграции «на время войны».

4 июня 1942 г. в Праге участниками сопротивления был убит исполняющий обязанности «имперского протектора Богемии и Моравии» Гейдрих. «В отместку» эсэсовцы схватили 500 берлинских евреев и половину из них тут же расстреляли, а остальных отправили в концлагеря. Доктор Шёпс с супругой также оказались в числе задержанных. Им «повезло»: их не расстреляли, а отправили в Терезиенштат. Спустя полгода 78-летний Юлиус Шёпс умер в лагере от почечной недостаточности. Его прах вместе с прахом других узников был высыпан в Эгер, приток Эльбы. Жену Шёпса в 1944 г. депортировали в Освенцим. По прибытии в концлагерь она была отправлена в газовую камеру.

Вместо заключения. В санаторной зоне Кладова, что в Берлине, находится 31-й полковой лазарет бундесвера, носящий имя доктора Ю. Шёпса. Здесь ежегодно отмечается день памяти ветерана 1-ой Мировой войны, а в Hildesheim'e (Земля Нижняя Саксония) одна из казарм названа его именем. Там же установлен огромный валун с памятной доской:

*Майор медицинской службы, доктор Юлиус Шёпс
05.01.1864 Нойенбург – 27.12.1942
концентрационный лагерь Терезиенштат*

Литература:

1. Deutsche Jüdische Soldaten, Verlag E.S.Mittler & Sohn, Hamburg, Berlin, Bonn, 1996, S. 210
2. Leo Sievers., Juden in Deutschland, Verlag Gruner und Jahr AG & Co, Hamburg, 1981, S. 306
3. Felix Theilhaber, Jüdische Flieger im Weltkrieg, Verlag „Der Schild“, Berlin, 1924, S. 124
4. Rolf Vogel, Ein Stück von uns, v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 1977, S. 397



АЛЕСЬ ЭРОТИЧ

(Собст. Александр Таранович). Родился в 1955 году в Минске. Художник.

В Германии с 2001 года. Публикации в альманахе «До и после». Книга «Песня эмигранта»

БИТВА НА ШПРЕЕ

Лето в этом году затянулось

В сентябре ещё мелькали его ошмётки.

По утрам воздух был прян и лучист, как дольки дыни.

Лучи солнца с трудом пробиваются сквозь тончайшую золотую пыльцу, покрывшую город. Платаны-утёсы стоят в дымчатом сне, дома потонули, и только бирюзовые шпили древних кирх вырываются из этого бульона. Осень уже разлила свои дурманящие краски на стены домов, густо покрытые плюшем...

В один из таких дней я оказался в Кройцберге, на берегу Шпрее, на набережной со старыми ивами. Иногда необходимо побыть одному, чтобы привести себя в порядок...

Толстый турок в синем комбинезоне ловил сачком листья в фонтане. Черный сонный кот лениво протащил свой хвост по земле, собака, задрав ногу, мочилась на колесо БМВ. Двое высоченных мужчин в кожаных куртках, с бронзовыми лицами, покрытыми жёсткой белёсой щетиной, целовались невдалеке. Корабли «белой флотилии» с грустными одинокими туристами на борту, бороздили могучую реку. Солнце играло в пшеничных кудрях детей...

Заблудившись в собственных мыслях, я не почувствовал, что в воздухе повисло напряжение, ознобистым ветерком пронзило устойчивую сентябрьскую жару.

Мимо прошла группа парней. С палками в руках.

Гипертрофированные подошвы непомерных башмаков, бритые головы блестят на солнце.

Девочка-прутик с ними, сочетание чистоты с порочностью, нимфетка из глубинки, чахлый городской порок на личике. Диверсант-спецназовка.

– Вот и повод оттопыриться, – сказал один, глядя на целующихся мужчин.

– Komm, wir suchen etwas anderes! – резко оборвал его другой, перемалывая звуки зубами. И улыбнулся хмельной улыбкой...

Через некоторое время в том же направлении продефилировали две дамы с активно развитыми вторичными половыми признаками. И тоже с палками в руках.

Что происходит? Я вышел посмотреть...

Вдалеке у моста, улица была полна интересных персонажей. Взрослые и дети попеременно. Многие с какими-то каучуковыми палками в руках и щитами из предвыборных плакатов канцлера Шрёдера и Ангелы Меркель. Некоторые в касках. Много разных касок: каски велосипедные, каски строительные, каски армии ГДР и каски Вермахта. Больше всего народу возле Warschauer Brücke, чьи красивые, смахивающие на московский Кремль башни, плавали в реке.

Похоже, здесь собрался весь цвет андеграунда, многообразная берлинская флора.

Вокруг деловито снуют вагнеровские Валькирии и Брунгильды с волосами лунного цвета и синими от татуировок руками.

Мать наносит на личико девочки с льняной головкой боевую раскраску ирокезов.

Динамит-итальянка, видимо из «красных бригад», носит с ящиком гнилых помидоров.

Девочка в огромных резиновых сапогах, разводя сизые губы, поёт:

– Мы цветы жизни в этом мусорном ящике...

Подошел отряд в жёлтых пластиковых комбинезонах. Двое на тележках привезли самодельный водомёт, похожий на старинную пушку. Ватага детей с шумом и гамом заправляет водой воздушные шарик и презервативы...

Публика особенная, здесь явно нет лохеных хищниц и янки с Kudamm и Kurfürsten Strasse.

– Что здесь происходит? – осторожно поинтересовался я у человека с кинокамерой в руках.

– Кройцберг и Фридрихсхайн будут «zehne zeigen» – зубы показывать, выяснять, кто из них сильнее.

Был день овощной разборки «Крестовой горы», «Парка Фридриха»...

В Берлине на год приходится два таких разрешённых «бунта» – «1 мая» и «день овощной разборки».

В эти дни взрывная энергия свершений и подвигов берлинского «дна», до этого схваченная законом, обретает выход и направление и словно из вскрытой вены, всепробивающей струей бьет наружу...

Кроме немецкой, слышна польская, итальянская и турецкая речь. Русской обычно нет.

Судьба одним поворотом интриги свалила мне этот эпизод на плечи.

Раскачиваясь, медленно поплыл ритм «Болеро».

«Там – та – ри – тари – та – ри – рам... тара – там...»

Раз – и я вошел в двери без стен, отделяющих один мир от другого, напрямик въехал к героям Ремарка. Сейчас увижу немцев в бою, соприкоснусь с наследниками тевтонского ордена...

Листаются лица.

Сотни лиц.

Я даже не пытаюсь заглянуть в бездну их душ, я ведь не Достоевский.

Есть люди, чье существование наполнено судорожным экстремизмом, люди, безвозвратно прогуливающие свою жизнь.

И эти люди были здесь.

Костистые, тонкогубые, похожие на топорщица парни, светло-серые колкие глаза под ниточками бровей – борцы против старомодной бюргеровской культуры. Белокурый гигант с лицом микеланджеловского Давида, тащит стопку ящиков с гнилыми апельсинами.

Глаз зацепил что-то интересное.

Непомерно-огромный рыжий мясник с лицом, напоминающим сырой гамбургер, стоит в позе поединщика из картины «Куликовская битва». Жует каугумми.

За прозрачной пленкой веселья читается настороженность. Готовят пращи для боя подростки с птичьими шеями, выступающими из целлофановых мешков. На их лицах – гордость за себя. Со всеми своими прыщами и гормонами.

Бородачи, по виду художники андеграунда, контркультуры, субкультуры, не признающей за официозом никакой эстетической ценности.

Разговаривают на «пришибленном» слэнге «низов» Берлина.

– Сюрреалисты – это подонки! Эти интеллигентные сукины дети расчистили в свое время дорогу для Муссолини и Гитлера...

Летят цветастые немецкие фразы:

– У молодых нет энергетики 70-х годов. У них только всеотрицание – всё взорвать и уничтожить.

Чтобы жить в таком свинарнике, как этот мир нужно быть похожим на свиней...

– А знаешь, «Битлз» при награждении их орденом Британии, раскурили косяк прямо в туалете Букингемского дворца.

– Верный экстрим – хороший допинг для психики...

Дальше уже жестокая проза о том, что надоело работать.

Мужикам за сорок.

«Пофигистский» стиль в одежде, ненависть к соседу, стригущему травку на лужайке и меняющему колёса своего «Мерседеса» в положенный срок. Несогласие жить в причёсанном и лакированном мире потребления. Но понимают, что грандиозные планы в жизни уже неосуществимы, и пора превращать большие возможности в малые успехи...

Сам мост неестественно пуст, с обеих сторон он перегорожен отрядами полиции, вдоль перил стоят люди с фотоаппаратами и кинокамерами.

С трудом протиснулся на середину моста.

Река словно застыла в предчувствии сражения. По обеим её сторонам колышется тяжким дыханием напряжённая жизнь мегаполиса.

Пожилой мужчина справа говорит соседу:

– В прошлом году победил Фридрихсхайн. Они использовали мощные водомёты...

Внезапно на середину моста влетает какой-то лихач с седым хвостом из-под бейсболки.

В нём угадывается ветеран студенческих волнений 68-го года, когда жгли чужие машины, пили, «трахались» на баррикадах.

С криком он мечет яйца в сторону бойцов Фридрихсхайна. И, словно по сигналу, за ним двинулась стена бойцов Кройцберга, ритмично барабани дубинами по щитам. Небо вмиг закрыла туча из пакетов с молоком и мешков с мукой. Стороны схлестнулись. Закружился дикий вальс в ритме чечётки.

Сверху на него лёг тяжелый ритм «Болеро».

Ощущение, что где-то уже это видел, что нахожусь на съёмочной площадке и статисты, одетые бойцами, заколотили мост и окатывают друг друга ушатами развесистых реприз.

Вот один, укутанный в скуфью, только глаза торчат, нещадно лупит простофилю с синдромом Питера Пэна – вечного мальчика.

Мужик в майке из рыболовной сети, с лицом усталого Гуру, выбрал себе в противники лысого гоблина.

У парня с рыжим костром на голове душа дует в трубы. Бок о бок с ним сражается пламенногровая, смахивающая статью на кобылицу, амазонка с наглым, как у московского таксиста, лицом.

Повсюду на спине моста зыбится кишашщее живьё тел.

Поток.

Водоворот.

Шанхай.

Колышется. Пульсирует. Вибрирует.

Полиции спрятались за свои фургоны.

Не вмешиваются.

Из-под ног сражающихся выползает старичок с внешностью фрик-мутанта, случайно залетевшего на землю. В его дремучей бороде явно проживают хищные звери. Взор не обладает мыслью, она живёт отдельно...

В центре моста оживление.

Со стороны Фридрихсхайна на мост вползает какой-то непонятный танк. Он облеплен бойцами, отчаянно машущими дубинами направо и налево.

Ага, они использовали «Трабант», этот «Мерседес Хоннекера», пластмассовый сервант на колёсах. Но не тут- то было.

Кройцберг рванул и... – опрокинул эту боевую колесницу. Миг – и она покрылась густым белым дымом.

Сотни глоток радостно взревели.

Дама, смахнувшая напластования лет, носится как электровеник. Глаза блестят, 1000 вольт радости изо рта. Рядом с ней яростно сражаются ещё две наследницы Розы Люксембург.

«Трабант» полыхает.

Бой превращается в целлюлозное месиво.

Яйцо задело моё ухо и потекло по очкам-велосипедам у парня, стоящего у меня за спиной. По ходу рождается опыт: – не стой позади высокого человека. Уклоняясь, он может резко отпрянуть в сторону, и ты получишь его порцию. Снаряды летят густо, буравят поверхность воды. Особенно эффективно действует бомба из презерватива, наполненного водой. Разрываясь, она окатывает всех в радиусе трёх метров...

Бой накаляется.

Границы жанра, слегка размытые до того, исчезают вовсе. Звучит только «Болеро».

Между сторонами чувствуется взаимное нарастание тяжеловесной антипатии.

Вспоминается Маяковский:

– «Сегодня надо кастетом кроить у мира в черепе»...

Поймал стальные глаза дамы с головкой прекрасного богомола. Она действует как королева скоростного «откоса». Это её сфера. Миг – и утонула в силиконовом блеске тел.

В толпе зрителей трещат электронные дуги мобильных. Внезапно прорезав войлок облаков, вынырнул сердитый вертолёт. Взыла пожарная сирена, но это не охладило пыл бойцов.

Ищу глазами белокурого великана.

Вот он, похожий на камбалу, вставшую на хвост, Оттон I-й с Крестовой горы.

Грудь и спина сплошь в овощном лечо, с волос плывёт майонез. На добродушное лицо легло выражение бычьего упорства. Словно крышу снесло. Жилистый, как трос, и неутомимый, как мельница – он непобедим. Исчезает в бушующем водовороте...

Со стороны Фридрихсхайна по людскому морю взмыло тяжким и радостным:

– Ein, zwei, drei – Los!!!

Рывок – и продвинулись.

Ещё рывок – и опять.

Растеклось:

– Ost Berlin, ost Berlin, ost Berlin!

Над толпой вспыхнул киноварью кумач с серпом и молотом.

– Ost Berlin!

Уставшая цикада вывалилась из толпы.

Узнаю нимфетку.

Она преобразилась.

Мокрая майка облепила налитое молодостью тело. Соски-пули проткнут любого. Достала из-за пазухи гнилой апельсин. Возбуждённая – она пахла перебродившими гормонами. Пожарный шланг красноречия раскрутился на полную катушку. Разбухше-красивый, ядовитый цветок, нажравшийся вкусных насекомых, она пульсировала, как обнажённое сердце под скальпелем хирурга...

Турецкий подросток поднял валявшуюся под ногами бутылку, замахнулся. Сосед-немец перехватил руку.

– Положи. Нельзя. Здесь это не проходит...

Опять раскатилось:

– Ein, zwei, drei, Los!!!

Ударный отряд Фридрихсхайна таранил скомканную толпу Кройцберга, как ледокол ледяные торосы – мощно, неотступно, плавномерно.

Это было первенство силы воли и хорошей организации. Площадь моста доставалась им, как победа русским в Сталинграде, метр за метром, но неуклонно. «Болеро» уже звучало на высших уровнях своего крещендо – торжествующе, как рок.

«Па – ри – ра – рам... тара – там! Бам!!!!...»

Андеграунд Кройцберга, со слабыми от пива и мастурбаций телами, стал похож на исколотого инсулином больного. Его сухая физиономия растянулась грязным абажуром на каркасе моста.

Снова поражение.

«Мой» Кройцберг проиграл.

Лимитированная война, лимитированное столкновение, всё закончилось ровно через час.

Как и положено...

Закончилось по-леопольдовски:

– Ребята, давайте жить дружно!

Дело сделано. На фронте идёт братание, на лицах бывших противников лежит печать умиротворения. Они похожи на людей, которые откусили от торта больше, чем могли вообразить, и блажь на лицах разливается, как форс-мажорный аккорд морского прибоя. Музыка «вставляет» парням с расширенными зрачками. Ватаги оккупируют близлежащие кнайпы

Последний кадр уходящего события.

Девочка засыпает, уронив пшеничную головку, на руках у усталой матери, покрытой разноцветной смесью овощей и кетчупа.

Беспользные негерои реальной жизни, не знающие, что делать, как жить и куда себя девать. Артисты, работающие на нижних этажах человеческой жизни берлинского театра. Умные немецкие политики нашли вам применение. «Герои» напряглись для очередной революции, а им – бац! – укол успокоительного.

Вот пар и выпустили. Ведь у немцев никогда не было, как в России, кулачных боев – деревня на деревню, стенка на стенку. А надо бы...

* * *

Прошло два месяца.

В Париже, в затем и в иных городах Франции, подростки вышли на улицы с булыжниками. Запылали тысячи автомашин. В разгар этих беспорядков в Берлине вышла газета, где один известный политик выразился коротко и ясно:

– Успокойтесь. У нас этого не будет.

ТОТ САМЫЙ КЛАУС

В декабре морозы внезапно отпустили.

„Josephine“ и „Flippa“, старые яхты-рестораны покинули свои стоянки в заливе у „Admiral Brücke“ и ушли вниз по Шпрее. Залив, лишившись пламени, горевшего на их скрипучих мачтах, как-то сник и по вечерам стал быстро погружаться в холодную пустоту. Столетние плакучие ивы, растущие по берегам, рассеяно выводили ветвями замысловатую графику по заснеженному льду. Мостки-причалы теперь никуда не вели, обрывались в белую пустоту и напоминали сюрреалистические картины Рене Магритта.

В городе вновь стало тепло и тихо.

В один из таких вечеров я отправился в путешествие по улицам, легко перетекающим одна в другую, и заодно по глубинам человеческого подсознания. Захотелось потеряться, отдаться инфантильности.

Природа сжалась и впала в мутноватый транс.

Календарь менял осень на ожидание зимы.

Грифельная штриховка полупрозрачных ветвей запуталась в обрывах туч.

Небо уже покрылось зимним стеклянным колпаком, в который упирались башни Potsdamer Platz .

Фонари тихо мерцали в желатиновом воздухе, из темноты падали приколотенные наспех звезды, белые ангелы застыли в черном сумраке подворотной тишины.

Ноги сами несли меня на Ораниенбургерштрассе. Навстречу попадались турчанки с лицами, отшлифованными шариятом и терпимостью, сновали беспечные пенсионеры, страдающие от обеспеченности.

Внимание всей страны было приковано к обсуждению судьбы национальной героини – археолога, похищенной в Ираке. В центре столицы устраивались многотысячные митинги. Послы иностранных держав наперебой предлагали свою помощь, лучшие бойцы элитных подразделений бундесвера готовы были головы сложить, только бы спасти ее из рук мусульман-фанатиков.

А в это же самое время далекая северная страна, затаив дыхание, ожидала главного события года – очередного развода знаменитой певицы с хищным сердцем, живущей в огромном городе и которую за глаза звали «парашют, ходящей по сцене».

Из вагона на трамвайную остановку высыпалась разноцветная радость. Пойманные в «пробку», спали автомобили.

– Художник, помни, влияние Канта губительнее, чем кокаин – это сказал Клаус, житель Ораниенбургерштрассе. Эта улица занимает особое место в моей жизни. Здесь есть три достопримечательности, целых три. Литературный клуб на третьем этаже старинного дома, куда подняться в колымаге древнего лифта, деревянные двери которого открывают руками.

«Tacheles» – место моей первой официальной работы, корабль-руина, населенный творческим народом из разных стран, место, где анархизм понимают так, как понимал его князь Кропоткин, а не группа «Sexpistols». И добрый «Санта-Клаус», живущий в кресле, примостившемся между двумя киосками, человек, с глазами цвета счастья, целый день наблюдающий за тем, как чужая жизнь течет мимо и сквозь него...

Мы познакомились с ним по-московски, с пол-оборота, летом, когда я работал в «Tacheles», а он сидел напротив, через дорогу и выставял

напоказ свою коллекцию куколок-человечков. Улыбаясь своей чарующей улыбкой и поглаживая огромную белую бороду, он подозвал меня и спросил:

– Художник, ты знаешь, кто живет в моей крови? Там плывут на нерест рыбки-лейкоциты!

С тех пор мы подружились.

Оказалось, что рыбки жили не только в его крови. Их без труда можно было наловить в его перламутровых глазах, особенно тогда, когда он занавешивал серую печаль дня своей царственной улыбкой.

В отличие от других людей из его племени, он никогда не грузил кашей из фрейдистской тряхомудии и коллажем полудокументальных рассуждений о социализме.

* * *

Я давно заметил, что у берлинских бомжей и городских сумасшедших нет того надрыва, как у их российских коллег. Условно они делятся на две категории: активные и пассивные. Все активные путешествуют в У-банах. Как перелетные птицы, они ищут счастья в пути. Эти обломки пассионарности никогда не уходят во внутреннюю эмиграцию, как т е, из другой категории. С утра до вечера колесят они из одного конца Берлина в другой. К ним относятся и англичанин Джон, длинный верзила, ходящий даже зимой или босиком, или во вьетнамках на босу ногу с гитарой по вагонам, и Питер, с аккуратной бородкой в желтом костюме лягушки-царевны, с лягушачьей головой в короне под мышкой, Кощей Бессмертный, собирающий дань по вагонам, в валенках из целлофана зимой и летом, также из их категории. И толстый Феликс со старинной пластинкой на голове и руками, густо увешанными женскими перстнями, и очкарик Зигфрид, всегда сидящий на огромном трехколесном велосипеде у станции метро, и неизвестный чудак, гоняющий на машине с громкоговорителем по Кройцбергу с петушиным пением, «Всадник без головы», собирающий дань в кафе, расположенных на Кудамме, и т.д., всех не перечесать... Ко второй категории принадлежат уже немолодые бородачи, всегда стоящие на одном и том же месте с банкой пива в руках или сидящих, как правило, неподалеку под мостом. Это люди, к которым пришла осень жизни.

* * *

В тот вечер я шел к Клаусу, заранее предвкушая как всегда интересный диалог. Вдруг что-то толкнуло: стул пуст, горят красные свечи. Масса свечей. Лежат письма, открытки, фотографии. И надпись:

– Der Klaus ist tot: Wir trauern.

Тот самый Клаус есть tot. Не может быть! Я заглянул за киоск. Не разыгрываешь ли ты меня?

Ведь еще на днях спросил:

– Художник, ты мое земное тело нарисуешь вверх ногами?

– Конечно нарисую, Клаус!

Не нарисовал, не успел.

Холодный город расставил сети из песен о любви и смерти, куда попали обломки соседней со мной судьбы.

Ты был такой же, как и все, просто служил другому ангелу, и все пространство твоей головы заполнила тень между реальностью и подсознанием. В твоём мозгу не выстраивались хороводы сложных жизненных установок, не было сложных отношений с самим собой, между сегодняшним и завтрашним днем. Не было забот о жене и детях, не было проблем, где взять деньги и как не опоздать на работу. Все было просто.

Была твоя звезда, которой была назначена своя траектория на небосводе. Ты говорил, что у тебя было только два возраста – детство и старость. Ты убил в себе немца и государство с его правами и обязанностями, параграфами и законами.

В твоих глазах никогда не было льдинок равнодушия – ты являлся продавцом улыбок в мире исчезающих лиц и людей, и у тебя существовала простая жизненная установка – любить людей. Всегда.

Мы были с тобой представителями разных миров, помещенными в единое пространство времени, мы барахтались с тобой в его вязком цементе.

* * *

У тебя не осталось сил сопротивляться непогоде, судьбе, этому городу, привычно проглатывающему своих жителей, и ты снял оковы жизни, ушел в вечный туман рассвета.

Ты соскочил с этого поезда, но остался в рамках собственной биографии.

Каждый человек, независимо от того, сколько он прожил, прожил на земле свою жизнь полностью.

Теперь где-то там, наверху, ты смотришь хронику своей жизни, запустив крылатую видеокамеру вовнутрь себя...

* * *

Прошло три недели.

Национальная немецкая героиня, голубоглазая красавица-брюнетка была освобождена. В Германию она не вернулась. Ей хорошо в Ираке. Ведь она мусульманка. Сегодня все больше немцы переходят в ислам...

Певица в далекой северной стране развелась. Очередной муж приготовился к разделу многомиллионного имущества. Страна успокоилась...

Мы идем с поэтессой Любой Рейнгач в клуб. Подходим к месту

Клауса. Она еще не знает.

Увидела. Застыла...

Он был из тех, кто выламывался из общего ряда. Мне будет его не хватать.

Свечей не стало меньше. Открыток и цветов тоже Я присмотрелся к одному посланию:

«Клаус, как ты там, в своем виртуальном мире? Счастливого тебе Рождества, Клаус!»

Родился 04.08.1928 года в Ковеле (бывшая Польша). Врач. В Германии с 1996 года.

Публикации в журналах и альманахах: «Егупец», «Третий этаж», «До и после»,

Книга «Не наступите на Монтеня».



ЕВРЕЙСКОЕ МЕСТЕЧКО ГЛАЗАМИ ЕГО ОБИТАТЕЛЕЙ

«Еврейское местечко» – «Штетл» – этно-географическое понятие, возникшее в силу ряда исторических обстоятельств в восточной Европе в средние века и существовавшее почти в первоначальном виде до середины XX века.

Описания его обитателей, их нравов и обычаев встречаются часто.

Очень ярко эта тема отражена у писателей, – выходцев из «Восточной Галиции», так назывались вместе три области Западной Украины: Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская. До первой мировой войны они принадлежали Австро-Венгрии.

Польский писатель и литературовед Ежи Фицовский назвал эти места «регионами великой ереси», видимо полагая, что литературная деятельность всегда немного отдаёт ересью, а литераторов – уроженцев этих мест в конце XIX – начале XX веков было много. Творчество их мало известно русскоязычному читателю.

Большинство из них впоследствии жили далеко от родных мест: в Вене, Варшаве, Париже или Берлине, однако не теряли связи со своей «малой родиной» и посещали эти места при первой возможности, несмотря на то, что войны перекраивали границы, а Восточная Галиция оказывалась в составе то одного, то другого государства.

Тема еврейского местечка интересовала большинство из них. Почти все они родились в еврейских семьях. Есть, правда, исключения: Леопольд фон Захер – Мазох, Элиза Ожешкова – представители других национальностей, но часть их творчества посвящена этой же теме.

У здешних писателей – евреев всегда была возможность выбора больше чем из двух языков. Только некоторые из них писали на идиш

или иврите, большинство – на польском или немецком. Возможно, что обилие литературных талантов вызвано самой атмосферой местечка, где под кваканье уток в луже на центральной площади и клекот аистов на продымленных соломенных крышах бородатые евреи вели нескончаемые диспуты о политике и споры на философские темы, пишу для которых в изобилии поставляли священные книги, и не только они.

* * *

Если в ста километрах от Львова чуть отклониться от трассы, ведущей на Киев, попадаешь в небольшой город Броды. Здесь до первой мировой войны проходила граница между Австро – Венгрией и Царской Россией. Здание старинной гимназии, основанной ещё при кайзере Франце Иосифе – одна из достопримечательностей города. Во дворе гимназии возвышается стелла с именами её знаменитых выпускников. Среди них есть и имя Иозефа Рота. Заметим попутно, что недалеко от Брод родился и предшественник Рота – Эмиль Француз, также писавший об этих краях. Романы и повести Рота давно известны русскоязычному читателю. Популярностью и сейчас пользуются его «Иов», «Марш Радецкого» и другие. В то же время, публицистика Рота, составляющая весьма существенную часть его творчества, русскому читателю вовсе неизвестна.

Считается, что истины, высказанные журналистами утром, умирают к вечеру в мусорных корзинах вместе с газетой, в которой они увидели свет, и только единицы из них удастаиваются чести оказаться в подшивках и пылиться на полках в архивах библиотек. Случается всё же, что эти, казалось бы, недолговечные мысли, переживают те, которые содержатся или, во всяком случае, должны были бы содержаться в толстых романах. Есть журналисты, которым свойственно умение отполировать статью в газете до той степени лоска, когда невероятно достоверны персонажи, ощутимо время. Такова публицистика Рота, включающая многое: от албанской глубинки, парижского кабака и марсельского порта, до описания жизни еврейских местечек Галиции.

Иозеф Рот родился в Бродях в 1894 году в хасидской купеческой семье. Учился в хедере, затем в светской школе, в немецкой казённой гимназии и Львовском университете. Позже последовательно жил во Львове, Вене, Франкфурте на Майне, Париже. Участвовал в первой мировой войне в рядах австрийской армии. Был ранен. Многие годы сотрудничал в одной из престижных немецких газет «Frankfurter Zeitung», предшественнице «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Там печатались его фельетоны. В 1939 году увидела свет последняя повесть Рота «Легенда о святом пропойце». В чём-то она перекликается с повестью Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки». И здесь, и там – исповедь человека, страстного к алкоголю. Последние годы жизни Иосиф Рот был привержен к этому пороку и умер в 1939 году в одном из Парижских приютов

от воспаления лёгких на фоне белой горячки.

Ему не исполнилось и 45 лет.

Вот одно из его ярких описаний:

«Местечко начинается маленькими хижинами и ими же заканчивается. Ближе к центру хижины сменяются строениями, которые уже можно бы назвать домами. Здесь начинаются улицы. Одна протянулась с севера на юг, другая – с запада на восток. На их пересечении расположилась торговая площадь. Как река, замедляя бег, образует озеро среди холмов, так и улица вливается в базарную площадь. Здесь можно проследить зарождение местечка. Местечко – дитя дороги. Остаётся, правда, тайной, вследствие каких причин где-то возникло местечко, а где-то – всего лишь село. Одно – пошире и округло, другое – вытянуто по длине. Понедельник – базарный день. Базар создал базарную площадь, а она – местечко. Городом оно станет вряд ли. Будущее распоряжается карьерой местности точно так же, как и людскими судьбами. В этом местечке 18 тысяч жителей, из них 15 тысяч – евреи. Должности чиновников и полицейских заняты христианами.

Среди евреев есть ремесленники, рабочие, водоносы, учёные талмудисты, служители культа, синагогиальные служки, учителя, стряпчие, переписчики торы, есть и ткачи-надомники, изготавливающие талиты, несколько врачей, адвокаты. Здесь живут обычные нищие, и нищие профессиональные. Последние по пятницам регулярно обходят дома зажиточных евреев, где им годами подают строго определённую сумму. Есть и «стеснительные» нищие. Эти подаяния не просят, а живут за счёт благотворительности. Здешний равви, как-то сказал: «Еврей от голода умереть не может – соседи не дадут, а если всё же умрёт, то не от голода, а от гордыни». А ещё живут в местечке специалисты по обрезанию, гробокопатели и кладбищенские каменотёсы.

Здесь две церкви, одна синагога и около сорока молитвенных домов. Евреи молятся трижды на день. Есть среди здешних евреев учёные-талмудисты, которые с пяти часов утра до двенадцати ночи в молельном доме штудируют религиозные фолианты. Только по субботам и праздникам появляются талмудисты дома к трапезе. Пропитание они добывают себе, если у них нет какого-либо имущества или богатого мецената, молитвами за упокой, уроками религии и дутьём в шофар по праздникам. Их семьи живут за счёт заработка жён. Жёны торгуют кукурузой – летом, керосином – зимой, а также маринованными огурцами и выпечкой – круглогодично. Торговцы и другие не слишком религиозные евреи успевают помолиться в ускоренном темпе, чтобы успеть ещё обменяться мнениями и обсудить события большой политики и местечковые новости. В молельном доме курят. Курят,

в основном, дешёвые сигареты или не очень изысканный трубочный табак. Евреи чувствуют себя тут не в гостях у Бога, а скорее – дома. Это вовсе не официальный визит, а трижды в течении дня встреча в бедном или богатом, но всё же святом молитвенном заведении с Богом.

Молясь, они порой чем-то возмущаются, громко кричат, жалуются на избыточные божьи строгости, по сути, ведут с Богом процесс против него самого, чтобы тут же признать, что они грешили, заслуживают наказания и надеются исправиться в будущем. Нет другого народа, у которого бы отношения с Богом носили подобный доверительный характер. Это от того, что они древний народ и знакомство у них с Богом давнее».



Роман «Божьи водоносы», до сих пор на русский язык не переведенный, принадлежит перу Манеса Шпербера. Из многочисленных его произведений на русский язык переведен только один роман «Несвоевременное предупреждение». Родился Шпербер в 1905 году в местечке Заболотье на Ивано-Франковщине. Первоначальное образование получил тоже в хедере. У Шпербера мы находим детальное описание этой учёбы, которая начиналась с трёхлетнего возраста. Хедер посещали только мальчики. Они изучали еврейский алфавит, их учили переводить библию с иврита на идиш, премудростям четырёх действий арифметики. Занимались дома у учителя – меламеда, чаще всего – бедного местечкового неудачника. Уроки проходили в помещении, где жена меламеда готовила обед, его дети сидели на горшках, а зимой под русской печкой кудахтали куры. Позже «выпускник хедера» Манес Шпербер учился в Вене, затем жил в Париже, стал советником президента по культуре Франции, занимался издательской деятельностью. В его издательстве впервые увидел свет «Дневник Анны Франк». Умер Манес Шпербер в 1984 году.

Приведу два отрывка из его книги «Божьи Водоносы». Первый - о местечковых островах:

«Остроловов в местечке всегда хватало. «Хохмы» народ черпал из книг, написанных на иврите, но многое придумывалось самими хохмачами и приписывалось ими известным островам. Более образованные украшали свою речь цитатами из произведений великих писателей. Цитаты не всегда оказывались к месту, но это не замечалось. Охотно цитировали Шиллера, реже Гёте. К нему относились с некоторым предубеждением из-за его любовных похождения. Гейне вспоминали не без гордости, но с некоторым укором – он ведь был выкрестом, а это не прощалось и не забывалось. Любое острое слово воспринималось с радостью и использовалось долго, до появления нового».

Второй отрывок посвящён характерным для местечка персонажам.

«Большинство еврейских детей в Заблотове владело украинским, польским, ивритом, идиш и немецким. Мы чувствовали своеобразие каждого из них. Славянское «вода» – для меня и ныне это та жидкость, которая в дворовом колодце, ивритское «маим» – это влага из родника, а немецкая «вассер» течёт из крана после того, как любой ребёнок повернёт его.

Я вспоминаю того крепкого мужчину, который в любую пору года приносил воду в наш дом.

Мы наблюдали за ним, вернее за его покачивающейся тенью, сквозь промёрзшее оконное стекло, сидя в жарко натопленной квартире. Мне казалось, что человек, выполняющий столь тяжёлую работу, должен очень много зарабатывать и, наверное, является самым богатым в местечке. Однако, если это так, то почему бы ему лучше не сидеть возле натопленной кафельной печки, чем заниматься таким тяжёлым трудом до поздней ночи.

Моё сочувствие вызывал и другой персонаж из местечковой жизни. Впрочем, этот персонаж привлекал внимание многих еврейских писателей и художников, уроженцев местечек Польши, Украины, Белоруссии и Литвы. В еврейской капелле ведущая роль отведена контрабасу. Капеллы клезмеров – эти неперменные участники еврейской свадьбы, часто приглашались и на празднества в помещичьих усадьбах, на свадьбы в дома христиан. Скрипку и кларнет не так тяжело нести по снегу или по раскисшим тропам, а контрабасист вынужден свой громоздкий инструмент тащить на спине. Инструмент, который по весу кажется тяжелее самого музыканта, и который его утлую фигуру почти полностью закрывает. В фольклоре контрабасист – эта весьма приметная фигура часто голодного человека, бредущего сквозь снежные сугробы, вызывает сочувствие и, в то же время, его игра – это какое-то трудно расшифровываемое послание свыше. Меня сильно впечатляли как возвышенность контрабасиста, так и приземлённость водоноса и тяжёлая судьба обоих. Я знал, что всё в жизни, вплоть до отдельных мелочей, определено свыше. Меня смущало только то, что наша приверженность вере чаще оказывается наказанной, чем вознаграждённой. Это мы – водоносы Господа Бога. Как же он может допускать, что мы из века в век так и остаёмся всего лишь его водоносами».

И у Йозефа Рота мы находим яркие описания персонажей, присущих только еврейскому местечку:

«Синагогальные певцы – канторы, или как их здесь на идиш называют «а хазн», пользуются большой известностью. В общественной иерархии местечка их положение предпочтительнее, чем положение обычных музыкантов, так как их искусство непосредственно связано с отправлением религиозного культа. Они – его служители. Слава

многих здешних канторов достигла даже Америки, и они получают приглашения в синагоги тамошних еврейских общин. Их можно услышать и в Париже. Посещение молебна порой становится чем-то похожим на посещение концерта. Тут удовлетворяются как религиозные, так и эстетические запросы молящихся. Говорят, что исполнение старинных религиозных напевов совершенствует способности певца, а многие здешние евреи уверяют, что их кантор превзошёл своим искусством самого Карузо.

В местечке существует профессия, только местечку и свойственная. Это так называемый «батхен». Он и конференсье, и шут, и философ, и неутомимый рассказчик в одном лице. Он – непременный участник свадеб, обряда обрезания и прочих радостных событий. Рассказы батхена могли бы вызвать сенсацию, если бы кто-то взялся их издать. Впрочем, возможно, Шолом Алейхем и был таким своеобразным «батхеном» всееврейского масштаба.

На востоке не так уж и редки подобного рода таланты. Почти в каждой семье можно встретить дядю, к рассказам которого с удовольствием прислушиваются дети.

Зимы здесь холодные, дрова недёшевы, а рассказы у остывающей печки увлекают детвору, и не только детвору. Евреи обычно ценят искусство и философию, даже если они не укладываются в религиозные каноны».

* * *

Город Дрогобыч, расположенный в предгорьях Карпат на Львовщине, вряд ли приобрёл бы свою сегодняшнюю известность, если бы в этом городе не родился и не прожил всю жизнь скромный учитель рисования и труда здешней гимназии Бруно Шульц. Впоследствии один из бывших его учеников – старый дрогобычский еврей произнесёт довольно банальную фразу:

«Мы и не подозревали, что среди нас жил великий писатель». К Шульцу и посмертная слава пришла далеко не сразу. Да он и сам недооценивал себя.

Родился Бруно Шульц в 1892 году в еврейской купеческой семье. У его родителей на центральной площади Дрогобыча был собственный дом, на первом этаже которого располагался их мануфактурный магазин. Всю свою короткую жизнь Шульц прожил в Дрогобыче. Он был чрезвычайно скромным, застенчивым человеком. Те, кто его знали, рассказывали, что передвигался он по улицам как бы украдкой, под стенами домов, будто стесняясь своего существования. Работа учителя давалась ему нелегко. Чтобы как-то успокоить своих расшалившихся учеников, он рассказывал им придуманные на ходу истории, некоторые из которых вошли в его книги. Написал он всего две тоненькие книги на польском языке: «Коричные лавки» (1934) и «Санаторий под клеп-

сидрой» (1937). Эти две книжечки в настоящее время считаются украшением польской литературы XX века. Существует подозрение, что в секретных, до настоящего времени недоступных, архивах бывшего СССР хранится рукопись его третьей книги – «Мессия».

Прозу Шульца отличает буйство метафор, непредсказуемость образов и сравнений, разлёт фантазии. Образы, навеянные жизнью провинциального городка, сочетаются, по выражению его переводчика Асара Эппеля, с «невиданными реляциями из интуитивного». Второй план в произведениях Бруно Шульца – это небо, библия, безбрежность космоса, загадки бытия. Существует мнение, что многие образы в произведениях Шульца навеяны хасидскими текстами и существуют где-то между ними и авангардистской литературой начала XX века.

Он известен и как выдающийся художник. Его произведения после второй мировой войны удостоились многочисленных выставок, в том числе и в центре Жоржа Помпиду в Париже.

Бруно Шульц погиб от руки эсесовца на одной из улиц Дрогобыча. Известно даже имя его убийцы. Им был шарфюрер Карл Гюнтер.

Вот два фрагмента из текстов Шульца:

«Коричные Лавки». Отрывок из главы «Август».

«Неказистые дома предместья утопали по самые окна в буйном и запутанном цветении небольших садов. В тишине обильно разрастались всевозможные растения – цветы и сорняки, радуясь тому, что могут беспрепятственно грезить за гранью времени, на краю бесконечного дня. Громадный подсолнух, повиснув на мощном стебле, уже больной слоновой болезнью, доживал в жёлтом трауре последние дни, сгибаясь под тяжестью собственной грандиозности. Наивные здешние колокольчики, вместе с другими непритязательными цветками, в своих накрахмаленных розовых и белых рубашечках выглядели беспомощными и скорее безучастными к великой трагедии подсолнуха.

Спутанные дебри трав, сорняков, какой-то дикой зелени и репейника набухают в пламени полдня. Жужжание роя мух нарушает послеобеденную дрему сада. Золото стерни простирается на солнце, словно стая рыжей саранчи. В обильном огненном ливне назойливо трещат кузнечики, стручки семян тихо потрескивают, внезапно раскрываясь. Сад там продавал по дешёвке остатки крупы дикой черёмухи, пахнущую мылом крупную ядрицу подорожника, дикую сивуху мяты и всяческую распоследнюю августовскую мелочь. А по другую сторону забора, уже вне этого сгустка лета, где разрослись безудержно ошалелые сорняки, была куча мусора, тоже целиком покрытая лопухами. И никто не догадывался, что именно здесь август справлял свою языческую оргию».

И краткое описание бытовой местечковой сцены у Шульца:

«Зося со второго этажа долго зевает и медлительно потягивается,

прежде чем открыть на время уборки окно; обильно наспанный, нахрапленный воздух ночи ползёт к окну, проходит сквозь, медленно вытягивается в бурую и дымную серость дня. Девушка мешкотно погружает руки в тесто постели, ещё тёплое и накусшее от сна. Наконец, с внутренним содроганием, с глазами полными ночи, вытряхивает в окно огромную пышную перину, и летят на город пушинки перьев, звёздочки пуха, медленный посев ночных морков».

* * *

Интересны описания жизни местечек у писателя конца XIX века, львовянина по рождению, Леопольда фон Захер-Мазоха. Он ещё в детстве познакомился с бытом и нравами их обитателей, знал идиш и иврит, изучал талмуд. Его описания местечка в романах «Илюй», «Хазара Раба», «Иудейский Рафаэль», в многочисленных новеллах, могут служить материалом для этнографических исследований. Его новеллы не лишены мягкого юмора. В одной из них герой, увлёкшись талмудистской дискуссией с другом, забывает отправиться в супружескую спальню в первую брачную ночь. Один из героев повести «Хазара Раба», насыщенной забавными талмудистскими парадоксами, сетуя на то, что у учеников ешивы жёны часто красотой не блещут, замечает: *«Любой купец слегка бракованный товар оставляет для потребления себе и своим близким. Так и Господь».*

Тему еврейского местечка мы находим и у Карла Эмиля Францеца, Сальцы Ландсман, Мартина Поллака, и в мемуарах знаменитого берлинского актёра и писателя, уроженца местечка Вежбовице на Ивано-Франковщине, Александра Гранаха.

Во Львове с 1919 по 1939 год выходили многие печатные периодические еврейские издания на идиш и польском: «Chwila» – «Момент», «Opinia» – «Мнение» и другие. В задымленных львовских кафе писатели часто просиживали за постоянным столиком. На разрозненных листочках создавались произведения, которые позже историки литературы, скрепля их канцелярской скрепкой, назовут «достоянием». В газете «Момент» были напечатаны своеобразные записки о львовских кафе уроженца пригородного местечка Иосифа Маена, который называл свой постоянный адрес так: «Кафе Рома», третий столик от входа слева».

В одном из таких кафе сживал и писал Иозеф Рот. В другом – за постоянным столиком высилась внушительная фигура тоже уроженца одного из галицийских местечек Остапа Ортвина, литературного критика, с мнением которого считались литераторы всей Польши.

На страницах здешних изданий публиковали свои произведения ставшие затем известными польскими писателями Артур Сандауэр и

Иозеф Виттлин (оба родились в городе Самборе на Львовщине). В крохотном местечке Бучач на Тернопольщине родился и провёл детство и юность лауреат Нобелевской премии Шмуэль Агнон. Его творчество, а писал он на идиш и иврите, посвящено жизни местечек и обычаям хасидов.

Еврейское местечко, самобытное, красочное, во многом неповторимое, стало жертвой Холокоста. Остаётся благодарить судьбу, что оно сохранилось в произведениях талантливых писателей.

(Цитаты в тексте даны в переводах с немецкого и польского, выполненных автором настоящей статьи)

ЮДОВИН

Заметки о художнике

В конце XIX – начале XX века Витебск играл выдающуюся роль среди городов Северо-Запада России. Железнодорожное сообщение с Вильно, Ригой, городами Белоруссии и Петербургом открыло ему возможность приглашать видных деятелей культуры, искусства и науки. Регулярные гастроли театров и отдельных исполнителей собирали полные залы. Собственный симфонический оркестр концертировал во многих городах России и даже выезжал за рубеж. Значительную часть интеллигенции составляли евреи.

Марк Шагал в книге «Моя жизнь» писал: «Я увидел надпись белым по синему: «Школа художника Пэна». Какой он интеллигентный, наш Витебск, подумал я...»

Действительно, Иегуда Пэн, выпускник Петербургской Академии художеств, приехав в Витебск, убедился, что здесь он кстати, он необходим для проведения занятий с талантливой молодёжью. В 1897 году он открывает Школу рисования и живописи. Это было первое, собственно, единственное еврейское художественное учебное заведение. В нём Пэн предпринял попытку создать программу национального образования. Ученикам предлагалось рисование с гипсов фигур и орнаментов, живопись с натуры и на пленэре. В качестве учебника Пэн использовал журнал «Ost und West», который издавали сионистские организации Берлина, и в котором поднимались проблемы еврейской культуры и искусства, и были репродуцированы работы еврейских художников. Учениками Пэна были, в основном, евреи. Многие из них учились параллельно в религиозных училищах – ешиботах. Ученикам предлагали изучение художественного творчества как формы национальной жизни, как способа национальной идентификации. Пэн был художником с ярко выраженной еврейской тематикой и старался передать это своим ученикам.

Именно в такую атмосферу с первых шагов своего творчества окунулся Соломон Юдовин.

Он родился в 1892 году в местечке Бешенковичи Витебской губернии, в семье мелкого ремесленника. Бедное детство скрашивала любовь к рисованию, увлечение им проявилось рано. Наблюдательность и фантазия открыли перед ним мир с иной стороны. Он старался изобразить его таким, каким ощущал. В первых рисунках рядом с фигурами людей появляются изображения фантастических зверей, птиц, растений, орнаментов, которыми украшали свои жилища и утварь местные резчики

и живописцы. В 1906 году он приезжает в школу Пэна и здесь получает профессиональную подготовку к дальнейшему совершенствованию своего мастерства. Его одноклассники, ставшие впоследствии крупными художниками – М.Шагал, А.Бразер, И.Мильчин, Д.Якерсон и другие, безусловно повлияли на всё дальнейшее творчество Юдовина. Все они никогда не уходили от еврейской тематики.

В 1910 году Юдовин переехал в Петербург для занятий в Школе общества поощрения искусства, затем брал уроки у знаменитых педагогов и художников М.Бернштейна и М.Добужинского, принимал участие в экспедициях Еврейского историко-этнографического общества под руководством С.Анского в качестве зарисовщика. Эти рисунки в дальнейшем стали подспорьем при создании Юовиным больших циклов гравюр на еврейскую тематику.

В 1917 году в Петрограде, а с 1918 по 1923 годы в Витебске он преподавал в Еврейском техникуме. В 1923 году выпустил альбом «Еврейский национальный орнамент», модифицируя элементы орнамента, вытянув его по вертикали и горизонтали, решив по-своему атрибутику из животного и растительного мира.

В эти же годы он начал выполнять свои работы в технике ксилографии (гравюры на дереве). Несмотря на то, что эта техника ограничена чёрно-белым изображением, линии разной толщины, пятна разной формы создают контрасты в соотношении двух цветов. Благодаря этому плоское изображение проявляет визуальную объёмность всей композиции листа. Штихель Юдовина чутко чувствует это, плоскость словно оживает, иллюзорно превращаясь в картину.

Каждая иллюстрация, непосредственно связанная с текстом, может рассматриваться, как самостоятельная станковая законченная вещь, несущая определённую смысловую нагрузку, и вводит зрителя в тот мир, в который его приглашает художник. Серии гравюр из жизни и быта местечек тому конкретное подтверждение - «Шаббат», «Былое», «Похороны», «Жертвы погрома».

Здесь проявилась его филигранная техника. Вводит зрителя в мир местечек, его быт, его типы, которые он знал блестяще, украшая всё орнаментами, никогда не перегружая композиции, акцентируя внимание на основном, в соответствии с той или иной темой. Здесь сказались его богатые знания, которые он ещё раз доказал в своей лучшей работе – иллюстрациях к книге Менделе Мойхер-Сфорима «Путешествие Вениамина Третьего» (см. на обложке альманаха).

Иллюстрируя книги, Юдовин проявил себя внимательным читателем, уважительно относящимся к авторскому замыслу, несмотря на то, он крайне деликатно предлагает свою версию происходящего в повествовании.

В 30-40 годы он занялся жанровой гравюрой не только на дереве, но

и на линолеуме, а в годы войны создал серии гравюр «Ленинград в годы блокады», «Рабочие» и др.

Им проиллюстрированы десятки книг. Наиболее интересными нам видятся: «У Днепра» Д.Бергельсона, «Еврей Зюсс» Л.Фейхтвангера, «Блудный бес» Л.Раковского, «Книжники» М.Чернокова, «Жизнь Ласарильо с Тормеса», а также историческая трилогия О.Форш.

В них он проявил глубокие знания эпох, этнографии, атрибутики, словом, всего, что необходимо знать подлинному мастеру, чтобы не погрешить против исторической правды, данной в книге.

Изредка Юдовин выполнял книжные знаки (*ex libris*’ы), в основном в технике ксилографии, владельцами которых были знаменитые музыканты, коллекционеры, владельцы частных библиотек, писатели и т.д. Композиции книжных знаков не только безупречны по исполнению, но и полностью соответствуют запросам заказчиков: характеристики их собраний, шрифтовые наборы полностью отвечают стилю всей композиции (см. на задней обложке альманаха)

При жизни художника была лишь одна его персональная выставка, в годы войны, в Ярославле с серией гравюр по Некрасовским местам в Карабихе.

Умер Соломон Борисович Юдовин в 1954 году, не дожив двух лет до большой ретроспективной выставки своих работ в Ленинграде. С тех пор прошло 50 лет и очень горько, что уже несколько поколений любителей и знатоков почти ничего не знают об этом художнике и его творчестве. А ведь он заслуживает внимания к себе, его смело можно считать гордостью не только еврейского, но и мирового графического искусства.

Апрель, 2006.

*Из автобиографических записей
Мой взгляд за черту «неоседлости»*

«СЕБЕ КУМИРОВ ОН НЕ СОТВОРЯЛ»

Пётр (Пейсех-Лейзер) Моисеевич Криворуцкий родился в 1920 г. на Украине в Бердичеве. Он начал рисовать с двух лет, и лепить — с шести. В ортодоксальной иудейской семье не поощряли его художественных занятий и даже запрещали их. Будучи прирождённым скульптором, он пошёл против воли родителей, против запретов, покинул дом и «перешагнул черту».

Так, уже с первых лет жизни, стала нелегко складываться его судьба. Обучение в Одесском Художественном училище прервала война. Он воевал, и лишь позже узнал, что 15 сентября 1941 г. в Бердичеве были расстреляны 36 тысяч человек, в их числе двадцать его родных и близких.

И во время войны, и в годы обучения в Институте имени Репина в Ленинграде, и всю последующую жизнь Криворуцкому пришлось пережить немало трагического. Но творил он непрерывно и неистово.

* * *

Мы познакомились с Петром Моисеевичем в октябре 1994 г. Его судьба заставила меня впервые вдуматься в смысл Заповеди:

Не делай себе изваяния и всякого изображения того, что на небе наверху, и того, что на земле внизу, и того, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им.

Тора. Книга Шамот. Гл.20 Итро.

В Торе на иврите также присутствует выделенное мною местоимение «СЕБЕ». Полагаю, что оно не может быть случайным, несущественным. Также важны последующие слова: «Не поклоняйся им...» Я чувствовала необоснованность расширительного толкования Заповеди, превратившего её в запрет, в ещё одну «черту», которую приходилось преодолевать художественно одарённым евреям. Обрадовало совпадение моих размышлений с мнением Бецалеля Наркиса, профессора Еврейского университета в Иерусалиме. В статье «Что такое еврейское искусство?» он пишет: «...Художественное творчество отнюдь не было запретным и в действительности поощрялось в случаях, когда оно служило для целей образования либо того, что известно как *иддур мицва*, то есть украшение принадлежностей, используемых при проведении религиозных ритуалов».

* * *

Пётр Моисеевич скоропостижно скончался 11 января 1987 г. в своём родном Бердичеве, где была выставка его работ. Ему, тяжёлому астматику, было невероятно трудно, как физически, так и морально, всё организовывать, своими силами перевозить из Ленинграда скульптуры, размещать на выставке, спасать их от преследовавших его постоянно прорывов горячей воды, губившей гипс... Сердце не выдержало.

Круг жизни замкнулся. Могила с изваянным самим скульптором надгробием соединила в одном пространстве рождение и смерть там, за бывшей «чертой неоседлости». Но более восьмисот его скульптурных творений, почти шестьсот из которых – портреты, созданы вне этой черты.

* * *

Вновь и вновь думаю я о судьбе скульптора. 26 мая 2005 г. возникло четверостишие:

ЕВРЕЙ – СКУЛЬПТОР

«Не сотвори себе кумира...»

Себе кумиров он не сотворял
и заповеди Божьей не нарушил.
Он вслед за Богом чудо повторял,
вдыхая в глину человечьи души.

После того, как один из портретов его работы оказался в Нью-Йорке, в Музее Метрополитен, Криворучскому предложили перебраться в США, гарантировав фантастические условия жизни и работы. Но скульптор, живя с семьёй в коммунальной квартире, работая в полуразрушенной холодной мастерской, губившей остатки его здоровья, ответил отказом: «Я должен лепить людей моей страны!» И он делал это ежедневно, без выходных, по десять-двенадцать часов вдыхая в глину человечьи души.

* * *

Не только на мой взгляд скульптор Криворучкий – уникальный художник своего времени. Его произведения создавались без оглядки на модные течения в искусстве двадцатого века. И останутся жить созданные им нестандартные изображения барственного поэта Некрасова на охоте, и полубезумного провидца Циолковского, и преодолевающего невероятное, словно идущего сквозь ураган, Королёва, и будет трогать до слёз балетная туфелька, упавшая с ноги Балабиной, прислонившейся к театральному занавесу её надгробия... И сохранятся мастерски срботанные портреты его современников, среди которых немало евреев, перешагнувших, подобно самому мастеру, «черту неоседлости».

2006

РАФАЭЛЬ ШПИЗЕЛЬ



Родился в 1927 г. в Молдавии. Хирург.

Публикации: “Военно-исторический журнал”, “Спадщина”, “Жизнь и слово”, “Місто”, “Замкова гора” и др.

Книга “Медики Острога”.

О ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ ГОРОДА ОСТРОГА

Острог, небольшой город в Ровенской области на Украине. Первые упоминания о нём – в Ипатьевской летописи за 1100 год. Князья Острожские ещё в XI веке избрали это место своей резиденцией. В начале XIV века сюда стали приглашать еврейских купцов и ремесленников из Германии и других западных стран. Оживилась торговля, город уже славился своими ремёслами. В начале XVI века здесь было многочисленное еврейское население, приносящее заметную прибыль в княжескую казну. В городских инвентарных описях с 1603 по 1728 годы часто встречаются имена еврейских домовладельцев и плательщиков налогов. Евреи не испытывали притеснений со стороны королевской власти Польши. В 1585 году город получил Магдебургское право. Ремесленники стали объединяться в цеха. У евреев были профессии ювелиров, резчиков по дереву и камню, гончаров, сапожников и портных. Изделия их пользовались спросом в Европе. В начале XVI века отливались пушки, изготавливался порох евреями-оружейниками. В 1577 году в Остроге работало 138 ремесленников-евреев 15 различных профессий, а в 1603 году уже 260 человек, представляющих 30 ремёсел. К концу XVII века ремёслами занимались 552 человека. В 1532 году купцы-евреи вели торговлю крупным рогатым скотом в обмен на сукно и другие товары, которые завозили из Польши. Позже стали делать паркет и наладили производство бумаги. В казну потекли налоги, за счёт которых строили новые дороги и мосты. Город становится заметным центром культуры. Евреи составили от 50 до 62 % всего населения.

Анна-Алоиза Хоткевич, которой в 1608 году по наследству достался Острог, писала кузену, королю Польши, что «...евреи, похоже основали

здесь новый Иерусалим».

В начале XVII века в Остроге уже большая самостоятельная еврейская община. В ней проводились «сеймики», их решения были обязательными. Арбитражный суд рассматривал споры евреев многих городов Польши и части Украины. Слово главного раввина было законом для всей Волыни. Обучаться в Острожской Ешиве считалось почётным делом.

Стараниями Князей Острожских в 1576 году была открыта Острожская академия – первое высшее учебное заведение в Восточной Европе. Здесь преподавали латынь, греческий, церковно-славянский и семь «свободных наук», которые делились на «травнум» (грамматику, риторику, диалектику) и «квадриум» (арифметику, геометрию, астрономию, астрологию). Четверо преподавателей были евреями. В 1578 году князем Василием-Константином была основана типография. В ней вышло 25 книг, в том числе под руководством Ивана Фёдорова первая печатная Библия. В 1608 году при Острожской синагоге была открыта еврейская типография, в которой печатали книги на иврите и идиш.

Она была закрыта в 1832 году царскими властями, из-за печатания воззваний польских мятежников. К концу XIX века здесь было несколько еврейских типографий. Центром духовной жизни была большая синагога, построенная ещё в XIV веке. Здание её в стиле барокко сохранилось по сей день. В ней работала школа раввинов, ешибот, проводились суды. При ней был госпиталь, обслуживающий не только евреев. Долгое время ешибот возглавлял рабби Шмуэль Элизер бен Иегуда (1555-1632), известный историкам под именем Самуэль Эдельс. Он был выдающимся учёным, окончил Ягеллонский университет. С 1599 года являлся главным раввином синагоги и преподавателем Острожской Академии.

В течение 300 лет синагога носит его имя. В истории евреев Острога мрачные годы связаны с годами хмельниччины. Почти все они были зверски убиты. По свидетельству Н.Ганновера, очевидца трагедии, в городе уцелели лишь пять домов. Евреи вновь поселились в городе лишь в 1670 году.

Раввин Шмельке Зак и Нафтула Коэн на свои средства восстановили синагогу. Стал функционировать и ешибот. В 1678 году польский сейм подтвердил привилегии граждан, независимо от вероисповедания. В 1688 году в Остроге проживали 1777 евреев – владельцев 415 домов. К середине XIX века евреев здесь уже насчитывалось 11000 человек, т.е. 62% населения. В 1845 году было 9315 человек: мужчин – 4430, купеческое сословие составляли 284 человека. Процветали ремёсла. Были учёные-талмудисты, врачи, адвокаты. Кроме большой работали ещё семь меньших синагог, школа раввинов, гимназия, талмуд-тора, хедеры, еврейская больница, банк, еврейский драматический театр, оркест-

ры, издавалась еженедельная газета на идиш и литературный альманах. В конце XIX века стало заметным сионистское движение, велось обучение молодёжи для отправки в Палестину. Многие евреи-острожане стали известными деятелями науки и культуры. М.М.Бибер, известный историк, в 1902 году издал в Варшаве «Острожскую еврейскую старину», в 1847 году в Бердичеве вышла его книга «В память раввинов Острога», А.Перельштейн в 1847 году в Мокве издал свою монографию «Описание города Острога».

В гражданскую войну много острожских евреев пали жертвой погромов. В межвоенный период, при Польше, несмотря на антисемитизм, культура в городе не увяла, процветали ремёсла и торговля. С фашистской оккупацией, уже 4 августа 1941 года было уничтожено свыше 9000 евреев. В живых остались всего 30 человек, спасённых местными жителями.

В послевоенные годы власти не способствовали увековечению памяти убитых. На месте одного из еврейских кладбищ был разбит парк и построена танцплощадка.

Сегодня Острог насчитывает 13000 населения, из них 1200 – студенты восстановленной Острожской Академии. Она выпускает юристов, преподавателей и переводчиков с польского и французского языков.

В 1991 году еврейская община Острога была восстановлена и функционирует по сей день, В ней несколько десятков человек.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ



С немецкого

САМУИЛ БАК

МОЁ ЕВРЕЙСТВО

Из окна моей мастерской видна теннисная площадка соседа. Там играют его сыновья. В их кипах и пейсах мне видится что-то трогательное, беспомощное. Дети воспитаны отцом в строго ортодоксальном духе еврейских традиций, у них даже не возникает вопроса, что значит быть евреем.

Совсем иначе было со мной. Были другие времена и другие обстоятельства.

Вспоминаю нашу квартиру в польском Вильно и вижу себя, стоящего у окна и глядящего вниз. Во дворе играют дети. Мне не разрешается играть с ними. Положено играть с детьми благовоспитанными, хорошо одетыми. Мы играем не во дворе, а на коврах, в тёплой комнате с красивыми игрушками. Я знал, что дети на улице — *«гои»*, а мы — *«другие»*.

Конечно, мы живём в одном доме, говорим на одном языке. Но у нас чёрные волосы и тёмные глаза, а они, в основном, — блондины. Им на Рождество ставят ёлку, у нас на Пасху угощают мацей. Они по воскресеньям ходят в церковь, а мы — нет. Наши старики, когда хотят что-то скрыть от нас, говорят на «идиш», мы этого языка не знаем. События, благодаря которым я познакомился с языком «идиш» и другими аспектами моего еврейства, произошли, когда мне было пять лет. Впоследствии эти события переросли в ад, на меня постоянно указывали пальцами, выделяя, как *еврея, еврея, еврея*. Потом они достигли апогея в треске пулемётов, крике детей и оглушительном рёве гестапо, пронзившем меня до мозга костей, который не умолкает по сей день.

Впервые я осознал то, что я еврей, идя с мамой из детского садика. Мы почти подошли к дому, как внезапно, словно из-под земли, возник оборванный подросток. Широко расставив ноги, с руками в карманах брюк, он преградил нам дорогу и пронзительно крикнул: «ЖИД!». Я почувствовал на лице тёплый плевок. Обидчик тут же исчез. Мама достала из сумочки носовой платок и вытерла мне лицо. «Это был отвратительный, мерзкий тип! С такими молодчиками мы не имеем ничего общего» — сказала она. Через несколько дней мама отвела меня в другой детский садик. Дети там говорили не по-польски, а на идиш, на тайном языке моих родных. Таким образом, я в следующие несколько меся-

цев с помощью детей, знавших идиш, и учительницы освоился с новым языком. Через несколько лет после этого случая мама мне рассказала, что она почувствовала себя обязанной дать мне понять, что я еврей. «Сынок, если в будущем кто-нибудь назовёт тебя евреем, ты должен знать, что это значит» — сказала она.

Вскоре после захвата Вильнюса войсками вермахта мои дедушки и бабушки были расстреляны вместе с другими евреями в лесу в Понарах. Они были стары для работы в лагере. Наверное Бог не любил моих дедушек и бабушек, думал я. Я, правда, не понимал, чего Бог ожидает от евреев, и сделали ли они достаточно для того, чтобы ему понравиться.

Я тогда очень мало знал об иудейской религии. Позже, в гетто, где мы, зажатые стенами и колючей проволокой, жили в невообразимой грязи, я совершил попытку бегства с помощью книг. Мне было около девяти лет. Я много читал и книги уводили меня в другой мир, в тот, что был уже уничтожен. Я познакомился с еврейским местечком, с хедером, иешивой и молельными домами, с бородатыми евреями, с праздниками и библейскими историями, с рассказами о жизни евреев на земле предков. Некоторые библейские истории, особенно из Нового Завета, мне рассказали монахи бенедиктинского монастыря, расположенного недалеко от нашего дома. Нас прятали в этом монастыре, обещая защиту от страданий и смерти в гетто.

Бог христиан был явно могущественнее Бога евреев. В этом меня убеждала страшная судьба евреев. Впрочем, и сын христианского Бога, который был евреем, тоже страдал. Я видел изображение прекрасного мужчины с золотыми локонами. На голове его был венок из колючек. Лицо выражало понимание, заботу и готовность совершить чудо.

Более того: если будет совсем плохо, можно было надеяться на место в раю. Я не знаю, кто задумал и совершил чудо, что нам с мамой выпал жребий спастись от смерти и трудовых лагерей в разных убежищах, в которых мы прятались во время оккупации. Мы выиграли жизнь, как выигрывают в лотерее.

В 1946 году, когда мне исполнилось 13 лет и предстояла бар мицва (совершеннолетие), мама нашла среди «перемещённых» лиц лагеря Ландсберг раввина, который должен был обучить меня основам иудаизма, чтобы я мог молиться в Йом Кипур, мог прочитывать Кадиш в годовщину смерти отца. Эта учёба давалась мне тяжело. После пережитого слова раввина не производили на меня никакого впечатления. Я был полон гнева на любую божественную власть за то, что она допустила весь тот ужас, что мы пережили.

Мне сказали, что Бог невидим и не имеет лица. Иногда он — горящий куст, иногда — дух, наполняющий души людей. В большинстве случаев это был Бог гнева и мести. Перечень моих несогласий был очень длинным...

После войны мы решили найти брата моей мамы, который ещё до войны уехал в Палестину и стал там одним из основателей киббуца. В 15 лет я приехал в только что созданный Израиль и впервые в жизни прошёл в рамках существовавшей там образовательной программы курс систематического обучения, получил полное представление об еврейской вере и еврейской истории.

В 1948 году создание государства Израиль казалось мне ответом на страдания евреев в этом и прошлых столетиях. Наступила новая эра.

Со многими людьми, пережившими Холокост, мы приехали в разгар войны с соседними государствами, противниками создания государства Израиль.

Ещё в лагере для беженцев в Германии разгорелась ожесточённая дискуссия. Одни утверждали, что у тех кто пережил нацистский ад, не хватит сил и мужества для того, чтобы преодолеть трудности борьбы при создании еврейского государства. Эти люди уехали в США или во Францию. Некоторые остались в Германии. Другие, в их числе и моя мама, считали, что только еврейское государство может гарантировать нам возможность существовать, не оправдываясь за своё еврейство, и только так мы сможем защитить себя.

Перед нашим отъездом в Израиль мама во второй раз вышла замуж. Мой отчим был в Дахау и потерял там свою семью – жену и двух дочерей. Надежда мамы на душевное здоровье отчима не оправдалась. Почти каждую ночь ему снились кошмары и он будил нас своими криками. Это преследовало его до самой смерти. После его похорон я понял, что там он, наконец, впервые за последние 25 лет будет спать спокойным глубоким сном.

В Израиле я учился в гимназии, затем в школе искусств, прошёл службу в армии. Потом поехал в Париж, в Академию искусства. Жил я в колонии израильских студентов. Как и все иностранные студенты, мало общался с французами. Благодаря нашим израильским паспортам мы жили независимо. Мы прошли через огонь Шестидневной войны. Арабская пропаганда сообщала, что евреи будут сброшены в море. Запах газовых камер вновь повис в воздухе.

Чудесное пробуждение мирового еврейства не знало ни религиозных, ни идеологических границ. Все проявили готовность помочь. Различия между израильтянами и евреями диаспоры не было. Всех связывала общая судьба, которую хотели все разделить.

Шестидневная война разразилась через год после того, как я и моя жена решили переехать в Израиль. До 1966 года мы жили в Риме, где договор с картинной галереей давал нам материальные средства для нормальной жизни. Это был относительно спокойный город, удобный для существования. Языковых проблем у меня здесь не было, круг друзей был обширен. И всё-таки мы ощущали себя «чужаками», раздра-

жала театральная наигранность в повседневной жизни, патетическая показная разница между провозглашённой верой и её применением в практической обстановке. Но прежде всего – всеобщее равнодушие, отчуждение и вследствие этого глубокое отчаяние под тонким налётом лёгкой жизни... Всё это нам не нравилось, и мы твёрдо решили уехать.

К тому времени у нас уже были две дочери, и мы не хотели, чтобы они росли в таком окружении.

Израиль тоже не свободен от охвативших весь мир симптомов болезни современной цивилизации. Но здесь мы почувствовали себя в другой атмосфере. Ещё была определённая простота и сердечность во взаимоотношениях между людьми. Разделяемое чувство общности, единой семьи придавало нам силу и воодушевление. Моё постоянно растущее чувство соучастия в еврейской жизни и еврейской истории отразилось и на моих работах. Не в простой иллюстративности, но в поисках символики, которую я выбираю так, чтобы она была понятна и говорила о мире, который был уничтожен, о восстановлении этого мира. Всё это есть в моих пейзажах, натюрмортах, орнаментах.

Интерес к моим работам непрерывно рос. В том числе и за границей, что требовало длительных поездок во многие страны. Я всегда радовался моменту приземления самолёта на израильской земле. Сердце охватывало возвышенное чувство...

В течение многих лет я рос и развивал своё мастерство. Сознательно воздерживался от контактов с немцами и со всем немецким: отвергал предложения выставок в галереях и продажи работ коллекционерам. Это исходило не из моего желания возложить коллективную вину на всех немцев. Я не отношусь к людям, мыслящим упрощённо. Я не хотел, чтобы открылись старые, не зажившие раны. Шрамы остались. Не заросли.

Изменения произошли, когда одна супружеская пара уговорила меня выставить мои картины в Германии и самому приехать к ним в гости. Их доводы были настолько сердечны и искренни, что я нашёл в себе мужество согласиться с их предложением. С этого времени начался трудный процесс, разрушивший эмоциональное отчаяние и давший толчок к новому расцвету моего творчества. После передачи по немецкому телевидению с показом моих картин последовал ряд интервью, статей в журналах и газетах, я познакомился со многими людьми, которые в последствии стали моими друзьями.

В то время, когда это происходило, меня вновь стали преследовать страшные картины прошлого, я не находил себе покоя ни днём, ни ночью; я видел себя, промокшего, в веренице людей, которых гонят в гетто; видел убежища, в которых мы ютились; видел себя и маму бегущими под бомбами по улицам, усеянным трупами людей. Особенно меня угнетала сцена в трудовом лагере, где мы жили после ликвида-

ции гетто. С утра небо было тяжёлым, воздух сотрясали пронзительные свистки, заглушаемые треском въезжающих грузовиков и рёвом гестапо: «Дети! Дети! Всем собраться во дворе! Их переведут в другое место! Быстрее! Что вы там возитесь!» Мама смотрит на меня с окаменевшим лицом. Я знаю, что это конец. «Я останусь с тобой, мы будем вместе». Она берёт меня за руку и мы идём к двери, ведущей на большую площадь. Там толпятся офицеры, солдаты, дети и женщины. Пронзительный крик. Дверь перекрывает женщина, дружившая с моими родителями. «Что ты делаешь? Ты с ума сошла?» Мама отвечает: «Я больше не могу; хочу, чтобы это поскорее кончилось!» Прошло несколько секунд. Эта женщина схватила мою маму за руку и изо всех сил толкнула её обратно в коридор. Мы заскочили в какую-то комнату. Внезапно они схватили меня, затолкали под кровать и накрыли тряпьем. Дверь закрыли снаружи; какие-то мужчины забросали её матрацами, сломанными кроватями и прочими вещами. Смутно помню рядом со мной ещё троих детей. Мы не шевелились. Шум снаружи усилился рыданиями и криками, пистолетными выстрелами и пулемётным треском. Я был в ужасе от страха. Я знал, что детей, с которыми ещё вчера играл, уже нет.

Сколько ещё я должен лежать здесь, свернувшись под этим тряпьем?

Сейчас я лежу в удобной кровати, в красивом доме, в окружении сада под голубым чистым небом. Но доносящиеся из прошлого голоса проникают и сюда; я ощущаю невольную вину перед теми, кого уже нет. Почему мне повезло? Почему именно меня судьба пощадила? Ведь все мы были обречены на смерть. Дорогие друзья моего детства, память о которых я мечтаю оживить на бесчисленных холстах, и которые сейчас живут во мне и в других выживших! Прошу вас, помогите мне в сегодняшней жизни удержать пульсирующее прошлое! Сегодня это нужно больше, чем когда-либо. Помогите действовать так, чтобы память осталась не напрасной. Я чувствую необходимость взять на себя обязанность свидетельствовать о том, что происходило тогда. Чтобы люди могли в будущем предотвратить трагедию прошлого.

Однажды, когда я был в Париже, я посетил в Лувре выставку, посвящённую 90-летию Шагала. Перед картинами толпились японские, голландские и итальянские туристы со своими экскурсоводами. Это была вавилонская башня в память о еврейском мире.

Иностранец Шагал стал центром притяжения, подобным Нотр Дам. Местечка, которое писал Шагал, больше не существует. Оно, как и мир моих дедушек и бабушек, сгорело в огне Холокоста. Остались документы, запечатлённые на картинах — в них наша боль и любовь. Но произошло и нечто иное: мир Шагала возродился в новом обличье. Странствующий еврей, который парил над крышами Витебска, живёт

теперь в Хайфе и Беер-Шеве, во влюблённых парах, прогуливающих улицами Тель-Авива. Свитки Торы, спасённые из огня, хранятся в синагогах Иерусалима и Цфата. Крепкие парни в военной форме цвета хаки несут свою службу, охраняя и защищая нас, это всё и есть чудо возрождения.

Это мир, в котором есть место и для меня, и который сделал меня таким, каков я сегодня.

Быть евреем сегодня означает участвовать в борьбе за выживание, быть в постоянной связи со своим народом, погрузиться в общую еврейскую судьбу, предназначенную нам вне зависимости от нашего личного желания, — и это всегда было мне важнее чисто индивидуального. Я научился любить эту судьбу. И эта любовь придаёт мне силы и уверенность.

ГОТФРИД КЕЛЛЕР

ВРЕМЯ НЕ ИДЁТ

Нет, время не идёт, стоит, -
Мы сквозь него идём.
Оно нам — караван-сарай,
И странники мы в нём.

Без цвета нечто, образ лишь,
Бесформенный объём.
В нём плаваем мы вверх и вниз,
Пока не пропадём.

Сверкает капелька росы
На солнце, как алмаз.
Бывает день, как-будто год,
И месяц, словно час.

Ведь время — это белый лист,
И красной кровью пишем
На том листе мы жизнь свою,
Пока живём и дышим.

И я тебе, огромный мир
В чудесной красоте,
Пишу любовное письмо
На этом же листе.

Я рад тому, что я расцвёл
В твоём венке прекрасном,
Что твой родник не замутил
Под этим небом ясным.

АНГЕЛУС СИЛЕЗИУС

** Бог охотно даёт великие дары.*

Великие дары ты шлёшь, великий Боже,
Но в сердце маленьком вместить мы их не можем.

** Всё заключено в Я и Ты.*

На свете есть лишь Я и Ты, а если нету нас,
То Бог не Бог, и небосвод обрушится тотчас.

** Любовь Богу ближе, чем ум.*

Любовь легко и просто войдёт в обитель Божью,
А ум и остроумие подолгу ждут в прихожей.

** Равенство созерцает Бога.*

Те, для кого НИЧТО и ВСЁ одну имеют цену,
Блаженны будут пред лицом Создателя вселенной.

** Что любят, в то и превращаются.*

Что любишь, тем и станешь ты, детина.

Коль любишь Бога – Бог, а любишь глину – глина.

** Бог имеет все имена и никакого.*

Хоть можешь Богу ты любое имя дать,
Ни под каким Его не сможешь ты понять.

** Ты должен стать ребёнком.*

Не станешь, как ребёнок, – не попадёшь, поверь,
Туда, где Божьи дети, – мала там очень дверь.

** Без почему.*

Не знает роза всяких Почему, не нужно ей внимание ничьё.
Она сама себя не видит, не спрашивает, видят ли её.

ФРИДРИХ ФОН ЛОГАУ

Возможность

Всегда есть возможность добро совершать,
Всегда есть возможность добро разрушать.

Правда и ложь

Правда – масло, а ложь – вода,
Поэтому правда всплывает всегда.

Друг и враг

Враг, который не вредит,
друг, что не помог ни разу, –

Оба на одно лицо,
позабудь обоих сразу.

ИОГАНН ГОТФРИД ГЕРДЕР

Из «Амура и Психеи»

Вся жизнь, вся жизнь лишь снится нам
Прекрасным раем.
Скользим, как тени по волнам,
И пропадаем.
С трудом по жизни мы идём,
Шаги считая,
И в сердце вечности живём,
Того не зная.

С немецкого

ЮРГЕН ПОЛИНСКЕ

МАМА

Ты шестерых на свет произвела,
но помнит о тебе, увы, не каждый,
и посетит тебя лишь тот однажды,
кого в твой город приведут дела.
А город ждёт. За каменной стеной
для отдыха – все прелести природы.
Там на воротах, рядом с булавой,
предупрежденье строгое у входа :

«Кого она кормила и поила,
кто мать в нужде оставил и забыл,
ударит булава со страшной силой».

Дубовая, не дремли, булава!
Отвесь неблагодарным по удару!
Когда их шесть – и одинока старость,
Напрасными покажутся слова.

МОЙ ОТЕЦ

Дедал! Пусть всё в огне горит:
И оперение, и крылья тоже,
Когда растает воск, похоже –
Изобретение твоё сгорит.

Пылают руки, пальцы ног в огне,
Зато могу я танцевать в полёте.
И «мёртвая петля» на извороте,
И пируэты удаются мне.

Быть рядом с утренней зарёй –
кто б мог суметь?
Я большей радости не испытал доселе.
А всё, отец, что было, в самом деле –
Скольжение, падение и смерть.

СЮРПРИЗ

... Всё вымыто, посуда вся блестит,
еда готова и салат удался,
и даже стол уже накрыт ...

и я подумал, между прочим,
когда вы возвратитесь из кино.
То есть захочется вам очень,

я мог уйти : так много было дел,
но фильма впечатляющие кадры ...
А «Пианиста» я уже смотрел ...

(... там речь о том, о чём мы знаем сами,
и те события нетрудно нам узнать :
да, это он — наш сын, любимый нами.)

НА ЛУГУ

Земля мне кажется подушкой,
Лежу на ней — спина к спине
И отдыхаю благодушно
На том зелёном полотне.
Светила нежное тепло
На лоб мой тихо снизошло.

Голубизна так глубока —
Мне в тело, в душу проникает.
Считаю в небе облака,
На солнце пятна я считаю.
На крылышках коровки божьей
Я крапинки считаю тоже
И чёрных ласточек мельканье
Под грозовыми облаками.

Считать, всё впитывать, мечтать
И любоваться светлым днём ...
Но то, что мы себе берём,
Мы забываем сосчитать.

РЕПИН

(не только о картинах)

Бурлачить –
значит вместе
впрягаться, будто лошади
в повозку,
и за канаты противу течения
тянуть суда, все силы напрягая,
а пот ручьями Волгу наполняет.

Покачиваются
со смеху казаки,
письмо султану дружно сочиняя.
Вокруг звучат насмешки да издёвки.
Нет, не страшны опасности казакам –
они над смертью собственной смеются.

Так кистью пишет музыку художник –
людей в работе, отдыхе, веселье
он красками ярчайшими рисует.

О, если б мог и я, хотя б немного,
пусть лишь двумя или тремя мазками,
украсить жизнь богатством этих красок.

БАБИЙ ЯР

В пределах города,
известного как мать
всех русских городов,
глубокий был овраг.

Пытались немцы
тот овраг засыпать,
его неизмеримое пространство
заполнить жизнью, что уже погасла.

Бормочет, стонет и грохочет,
беззвучно к Небесам вызывает
кровавая несправедливость,
которая на месте том свершилась.

И до сих пор та пропасть не исчезла, -
незаживающей зияет раной.
Покоятся останки убиенных
в овраге под названием «Бабий Яр».

Здесь совы, бабочки и стаи голубей,
и в летний день – порханье разноцветья,
весёлый щебет над густой травой...
А по ночам погибших души светят
в твои глаза.

С немецкого

ГЮНТЕР ГЕГАМ ПОЙДИНГЕР

* * *

Быть армянином означает:
У берегов изменчивого мира
Всегда к отплытью наготове
Держать домашний свой ковчег.
Над роскошью семи холмов зелёных
Не упускать из виду очертанья
Вершин всех снежных гор.
Уметь расслышать в умерших церквах
В созвучье вечном Слово Божье.
Из неродной чужбины постоянно
Стремиться в отчуждённую Отчизну.
И без особого усилья, из круга
Образовать квадрат иль что другое.
Мир принимать двухмерным наяву:
Каким он есть,
Равно, каким — быть должен.
С любимыми из чертей пить до упаду
На брудершафт,
Покамест ангелы вконец захлопнут
Последний ад.

*(Журнал австрийско-армянской
культуры, Вена, 1981)*

С иврита

ХАИМ-НАХМАН БЯЛИК

Из «ЗИМНИХ ПЕСЕН»

Веет утренней прохладой.
Воронья многоголосье
развело свои рулады –
тормошат, проснуться просят.

Ветер лёгкий, ветер свежий
одарил меня дыханьем.
Что-то мне шептал и нежил,
привечая утром ранним.

На стекле деревьев кроны
разрисованы морозом.
Видно, посох Аарона
им не пожалел наркоза.

И ажурные гирлянды
на деревья снег навесил:
иглы, стрелочки и банты –
как мороз сегодня весел.

Вот и солнечные блики
ворвались в мою квартиру.
Словно Ангел многоликий
к зимнему стремится пиру.

Снег волшебный, серебристый...
Рад я крепкому морозу...
На сердце светло и чисто,
и реальны стали грёзы.

ИОЗЕФ ФОН ЭЙХЕНДОРФ

ОТШЕЛЬНИК

О, тихая ночь, - утешение мира, - явись!
Ты с гор осторожно, наощупь, спускаешься вниз, -
Сегодня весёлые ветры ведут себя строго.
Лишь только угрюмый и за день уставший рыбак
Поёт свою песню вечернюю в гавани так,
Что в ней различимы слова, обращённые к Богу.

А годы идут, словно в небе плывут облака.
Качает меня одинокая чья-то рука
И мир впопыхах навсегда позабыл меня где-то.
Одна ты, бесстрашно и дерзко рванулась ко мне,
Когда размышлял я о жизни в нахлынувшем сне, -
Глаза устремила с сочувствием, полным привета...

Останься моим утешением, тихая ночь!
Готовой к тому, чтобы чем-то хотя бы помочь,
Когда потемнеет и стихнет холодное море.
О, дай мне от грешных желаний ещё отдохнуть,
Пока поутру не отправлюсь в обычный свой путь,
И лес не погасит моё неуёмное горе!

ГЕОРГ ТРАКЛЬ

В ПОКИНУТОЙ КОМНАТЕ

Окна глядят на цветочные клумбы.
Звуки органа проникли в нутро.
Тени на стенах скривились безумно.
Реин проносит своё серебро.

Рой мошкары, весь охваченный дрожью,
Вьётся над пламенем ярких цветов.
Звонкие косы беседуют с рожью.
Песни воды долетают в наш кров.

Мягко ласкается чьё-то дыханье.
Ласточки спешно несут свою весть.
И проплывает над свежей ранью
В золото убранный сказочный лес...

Солнца закат здесь цветы успокоил.
Реин, по-прежнему, в бликах зари,
что отражаются в жёлтых обоях.
Вот появилась фигура в двери.

Пахнут пьяняще и груша, и ладан,
Вечер ворвался в пространство окон.
И человек, что скорее угадан,
К белой звезде силуэтно склонён.

МУЗЫКА В САДУ МИРАБЭЛЬ

Фонтан поёт, и белых облаков
на синем небе разгулялась стая.
И окунаясь в праздность вечеров,
гуляют люди, скуку коротая.
И серый мрамор стал совсем седым.
Вдаль птицы улетают вереницей.
А мёртвый Фавн видит: словно дым
исчезла тень, чтоб темнотой укрыться.
С деревьев хрупких падает листва,
влетая в окна со всего размаха.
На стенах, словно знаки волшебства,
танцуют блики призраками страха.
Высокий гость переступил порог,
к нему собака бросилась навстречу.
Погасла лампа. Подведён итог.
И звук сонаты обозначил вечер.

С испанского

АЛЬФОНСИНА СТОРНИ

УЛИЦА

(из цикла «Город»)

Разинутый рот переулка
и чёрные дыры дверей.
Ловушка зияющих лестниц,
манящих по белым ступеням
подняться навстречу террору.
Под сотнями глаз проходящий –
мишень для сверкающей пули.
Лес каменный, циркуль железный.
Застывшее месиво криков
среди тишины беспробудной.
Подняться бы к синему небу,
подальше от этих чудовищ,
вот к тем городам златоглавым,
что ждут терпеливо и вечно...

МОМЕНТ

(из цикла «Город»)

Город, скроенный серыми камнями,
от тебя убегаю я прочь...

Чёрные сети улиц,
разделённые на углы и квадраты.
Вы приказываете.
Вы принуждаете.

Город миллионов людей,
среди них не найти одного,
подарившего мне Любовь.

Небо сегодня серее вчерашнего.
Город, твердивший мне,
что жизнь моя погасла,
все артерии перекрыты ,
даже голос исчез.

Вихрь, который не остановишь,
нет для него препятствий.
Он кружит по окрестностям,
достигает одной он точки:
сердца лишь моего.

ПОЕЗД

Отходит поезд.
Опершись, гляжу в окно.
Мечтаю.
Нет ничего приметного.
Мелькают те же скверы,
дома, колодцы, пашни,
церквушек купола.
Мой взгляд скользит бесцельно.
Вот резкий поворот.
И снова мысль печальна,
что это не пройдёт.
В прокуренный тот город,
где брошена любовь моя...
Как медленно ползёт
проклятый этот поезд...
Вдруг слышу:
кто-то крикнул моё имя.
Нет, показалось только...
Ну, что ещё осталось мне?
Жестокий поезд,
куда меня уносишь ты?
За что мою терзаешь душу?
Пусты мои ладони...
Ты жизнь мою разрушил для чего?

Игорь Гуревич



Родился 10.03.1939 года. Инженер. В Германии с 1992 года. Стихотворные переводы опубликованы в «Литературном европейце» и альманахе «До и после».

Книга стихов Пауля Целана.

С немецкого

НЕЛЛИ ЗАКС

* * *

По ночам овдовевшею болью
Слышу я, как протяжно звенит
Суть прожитых судеб и юдолью
Увлекается в неба зенит.

Но с рассветом воспрянет подсолнух,
Как подобие солнца людей,
И печаль увядания смолкнет
Под покровом стремительных дней...

ИЕРУСАЛИМ

Ещё не отлетевшая стрела
от тетивы изогнутого лука
покоится в холодном колчане,
и даже солнце в черноте
ещё хранит и тайны света,
огня, и бурь, и пятен, и теней...
Напрасно в сожаленьях многолетий
Оно склоняло небо надо мной...

Но вот конец — начало многих действий,
Всё — в ожидании и ночи, и огня...
Ах, что же, что в моих десятилетиях,
стремительно оставивших меня?

Теперь болезнь, пророчица святая,
познавшая секреты многих дней,
стучит клюкою, помогаясь
богатств, в душе оставшихся моей.

Мне жаль её, она ещё не знает
их преходящей боли и цены,
они неповторимостью прекрасны
и зноем одиночества пьяны...

Он близок, близок, мой Иерусалим,
он, злато-белый. Мною зрим...

* * *

Пройтись той ночью переулком,
что рядом, где-то за углом,
мне захотелось. Ту прогулку
с тех пор я помню... И потом

тень шла за мной, знакомая до боли,
она моею собственной была,
отображенье данной мне юдоли,
мою усталость на себе несла.

И тень, учитывая невесомость,
легла покойно на руки мои.
Я на ладонях холодок и строгость
её несу сквозь целой жизни дни.

Не удаётся мне её отринуть
и, как перчатку, просто потерять:
цвет Ничего нигде не сможет согнуть,
не может тень живую плотью стать.

С тех пор со мной живёт потусторонность,
ночей моих грядущих непреклонность...

* * *

Нежданный тёплый луч стихи не потушил.
в которых было столько грусти,
что мне казалось, не допустит
никто их к подступам души...

С победным знаменем шагает по земле,
черствея в душах, боль непониманья,
а светлячок участия, вниманья
упрятан нами же во мгле.

Куда же мне лететь, куда же мне идти,
чтоб понимание найти?..

* * *

Тайны грядущего – в семени малом.
В нём коренится начало начал:
танец в Арденнах, похожий на слалом,
в путь провожающий парус, причал...

Горный хрусталь и зовущее море
к северу – югу, на запад – восток,
к новому счастью, сплетённому с горем, -
всё увлекает незримый поток...

Самую малость – ракушку морскую
к уху легонько прижми в тишине –
слышать ты будешь, как волны бушуют,
белые чайки кричат по весне...

Да, всё повторится в сиянии млечном,
в каждую ночь, и закат, и рассвет, -
жаль только очень, что жизнь человечья
неповторимой останется, нет...

ФРИДРИХ ГЕББЕЛЬ

ЛЕТНЯЯ КАРТИНКА

Последняя из летних красных роз
Алела, словно кровью, в тишине.
И я воскликнул, не сдержавши слёз:
«Расцвет и смерть! И всё в едином дне!»

Ни дуновенья ветра, жаркий день,
Лишь бабочка тихонько проплыла;
Качнулся воздух, и, от крыльев тень
Почувствовав, вдруг роза умерла!

ОСЕННЯЯ КАРТИНКА

То был осенний день, как никогда!
Ни ветерка, и даже у воды.
Вблизи и вдалеке лишь иногда,
Шурша, с деревьев падали плоды.

О, не мешайте праздновать природе!
Весь урожай она сама взрастила,
И вот теперь в саду и в огороде
Живёт лучей божественная сила.

С польского

ВИСЛАВА ШИМБОРСКА

ЕЩЁ НЕ ПОРА

В вагонах, на которых пломбы,
где рельсами изрезана страна,
всё едут, едут имена,
бедой измучены, бездомны.

Имя Натан кулаком в стену вагона бьёт,
имя Ицхак в помешательстве песню поёт,
имя Сара воды дать скорей умоляет
имени Арон – от жажды оно умирает.

Давида имя, нет, не прыгай на ходу,
ты там обречено на горе, на беду.
Для тех, кто хочет жить в стране свободно,
такое имя больше непригодно.

Для сына бы лучше славянское имя иметь,
где по виду волос осуждён может быть человек,
где отделяют добро ото зла, жизнь и смерть
по именам и по разрезу век.

Не прыгай на ходу. А сын пусть будет Лехом.
Не прыгай на ходу. Ещё не пора, остынь-ка.
Не прыгай. Ночь отзывается эхом, как смехом,
она передразнивает стук колёс на стыках.

Туча людская большая прошла над страной,
но маленький дождь от неё – одна лишь слеза,
маленький дождь, одна слеза, сухие глаза.
Рельсы ведут в чёрный лес. Встал он стеной.

Так-то, так, колёса стучат на рельсовых стыках.
Так-то, так. Лес без полян. Транспорты криков.
Так-то, так. Ночью разбужена и не усну,
так-то, так, стучит тишина об тишину.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

(фрагмент)

Умершим вечность их хранят,
покуда памятью им платят.
Слаба валюта. Нету дня,
чтоб кто-то вечность не утратил.

.....
Та наша над умершим власть
весов стабильных ждёт и точных,
и чтоб судья не вздумал красть,
и чтобы суд судил не ночью.

В номере

От редакции.....	3
------------------	---

1. ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Дмитрий Бобышев.....	7
Генриетта Ляховицкая.....	9
Михаил Верник.....	18
Леонид Бердичевский.....	30
Марлен Глинкин.....	37
Давид Яновский.....	51
Борис Рохлин.....	54
Альфред Ходорковский.....	59
Анжелла Подольская.....	63
Валерий Матэтский.....	76
Михаил Эненштейн.....	81
Любовь Рейнгач.....	90
Маргарита Их.....	95
Альберт Леин.....	99
Семён Лурье.....	103
Кирилл Романовский.....	106
Михаил Погребинский.....	109
Мальвина Зор.....	112
Игорь Коган.....	115
Станислав Львович.....	119
Вера Фёдорова.....	127
Нора Гайдукова.....	131
Инна Иохвидович.....	134
Леонид Сысолетин.....	139
Олег Никогосян.....	141
Генрих Шмеркин.....	144
Марина Авербух.....	149
Евгений Денисов.....	151
Вячеслав Набоков.....	153

2. ПУБЛИЦИСТИКА. ЭССЕИСТИКА.

Карл Абрагам.....	161
Алесь Эротич.....	170
Марк Шейнбаум.....	181
Леонид Бердичевский.....	190
Генриетта Ляховицкая.....	193
Рафаэль Шпизель.....	195

3. НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Давид Яновский.....	199
Альфред Ходорковский.....	207
Олег Никогосян.....	211
Леонид Бердичевский.....	212
Нора Гайдукова.....	215
Игорь Гуревич.....	217
Раиса Филиппова.....	220
Генриетта Ляховицкая.....	221





ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ



До и После 10



Берлин • 2006